Разрушающій и созидающій міры.

(По поводу 80-лътняго юбилея Толстого.)

The time is out of joint...

W. Shakespeare.

I.

Пятьдесять дёть тому назадь, въ бытность свою въ Париже Толстому случилось однажды присутствовать при смертной казии. Онъ нигдъ подробно не разсказываеть о впечативніяхь, вынесенныхь имъ оть этого ужаснаго зръдища. Только однажды въ «Исповъди» встръчается у него « следующее праткое замечаніе: «Когда и увидаль, какъ голова отделилась отъ тъла и то, и другое врозь застучало въ ящикъ, я понялъ-не умомъ, а всемъ существомъ, - что нивакія теоріи разумности существующаго и прогресса не могуть оправдать этого поступка и, что, если бы всть мюди въ мірт, по какинь бы то ни было теоріямь, съ сотворенія міра, находили, что это нужно, я знаю, что это не нужно, что это дурно». Толстой быль тогда еще молодымъ человъкомъ-ему было что-то около тридцати лѣть, и воть тогда уже онъ находиль возножнымъ противопоставлять свое личное суждение суждениямъ всехъ существующихъ и существовавшихъ съ сотворенія міра людей. И, безъ всякаго сомнанія, въ приведенныхъ словахъ натъ никакого преувеличенія. Во всемъ мірѣ за все время его безконечнаго существованія нельзя было бы найти такую силу, которая могла бы принудить Толстого отназаться отъ его убъщенія и признать смертную казнь не то что нужной или хорошей, но выбющей хотя бы какое-нибудь оправдание. Это-съ одной стороны. Съ другой же, очевидно, и у Толстого не было той силы, которая могла бы заставить людей перестать казнить своих ближнихъ. Теперь, почти черезъ питьдесять въть после его путешествія въ Парижъ, онъ снова съ темъ же негодованіемъ и съ той же страстью возстаеть противъ смертной казни: «не могу модчать», кричить онъ на весь міръ, -- и снова безрезультатно. Теперь онъ уже не неизвъстный молодой графъ, путешествующій по Европъ, теперь онь самый знаменитый изъ всёхъ, живущихъ

на землё людей, теперь его слышить весь міръ. Но и теперь его громкій протесть, какъ и тогда его молчаливое негодованіе, не оказываеть никакого дёйствія. Его слышать, но съ нимъ не считаются и продолжають казнить. Толстой не уступаеть и не уступить; міръ тоже не уступаеть и не уступить, никогда не уступить: это знають всё, это знаеть и самъ Толстой.

Этотъ случай необыкновенно характеренъ для Толстого. Вся жизнь его—есть непрерывная борьба. Онъ хочетъ преодольть и передълать дъйствительность, которую онъ испренно, отъ всей души ненавидитъ и въборьбъ съ ией развиваетъ необыкновенную, титаническую мощь и силу.

Люди восторгаются Толстымъ, преклоняются передъ нимъ, но дъйствительность не поддается, остается тою же, что и прежде. Она даже какъ будто вдвойнъ торжествуетъ: въдь Толстой, огромный, колоссальный Толстой—тоже ся дътище, плоть отъ ся плоти, кровь отъ ся крови. Онъ примадлежитъ сй, онъ, протестующій и проклинающій се. Своего великаго Толстого она никому не отдастъ...

Тогда же, за границей, Толстому пришлось увидёть еще вторую смертную казнь,—но уже не отъ руки человёка. Умеръ его старшій брать, добрый, умный, хорошій человёкь. Вдругь неизвёстно почему заболёль и черезъ годь тажелыхь мученій скончался. Опять ужась, опять Толстой могь бы повторить, что, если бы всё существующіе и всё существовавшіе отъ сотворенія міра люди стали бы убёждать его, что это нужно, что это хорошо, онъ знаеть, что это дурно, безусловно не нужно, что этого быть не должно. Но онъ даже уже не говорить этого и теперь, черезъ пятьдесять лёть, онъ не обращается къ природё, какъ обратился къ людямъ со своимъ страстнымъ призывомъ: «не могу молчать».

Съ людьми бороться кажется возможнымъ, негодовать противъ природы—безуміе.

Всё знають, чёмь и какь отвётиль Толстой на эти двё смерти. Онь вернулся въ Россію, сперва было занялся литературой и литературно-педатогической дёятельностью, но вскорё женился и исключительно отдался своей семейной жизни, личнымъ дёламъ и художественному творчеству. И если бы въ то время, т.-е. въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, кто-нибудь попытался сказать Толстому, что его отвётъ—не отвётъ, что онъ не имбетъ права ни на семейное счастье, ни на дёловыя радости, ни на художественное творчество, онъ бы умёлъ дать отпоръ всякому и защитить свои права отъ непрошенныхъ учителей. «Я стою у своего дома съ кинжаломъ и револьверомъ, пусть осмёлится кто-либо войти въ него». И голосъ его звучитъ такой рёшительностью и непреклонностью, что едва ли кто-нибудь безъ крайней нужды сталь бы вступать въ борьбу съ нимъ. Каждому ясно, что тутъ было бы дёло не шуточное и что борьба предстояла не на жизнь, а на смерть. Толстой былъ готовъ и умёлъ постоять ва себя.

А между фёмъ, по возвращени изъ-за границы въ жизни Толстого былъ періодъ, когда онъ чувствоваль, что онъ погибъ, что защищать револьве-

ромъ и кинжаломъ нечего, ибо у него ивть дома, ивть жизни, ибо онъ самъ совсемъ сошелъ на нетъ. Его педагогическая деятельность, какъ теперь уже для всёхъ очевидно, была лишь попыткой спастись путемъ какой угодно трудной, сложной, поглощающей работы и заботы отъ неминуемой гибели. Ему нужно было действовать, нападать, бороться-объ этомъ свидътельствують въ достаточной степени его недагогическія статьи, на три четверти состоящія изъ страстной, різкой, часто несправедливой полемики. Все, что делають учителя и общественные деятели-скверно, все не такъ. Все нужно радикально измѣнить, все передълать. Даже впослъдствін, посл'є женитьбы эта вражда къ признаннымъ педагогамъ и земскимъ дъятелямъ продолжала по инерціи жить въ Толстомъ, хотя, собственно, причинъ, ее вызвавшихъ, уже давно не было. Но школьная дъятельность, разумъется, не удовлетворила и не успоковла Толстого. Наоборотъ, она еще болье разстроила его. «Я чувствоваль, --признается онъ самъ черезъ много льть въ «Исповъди», — что я не совстмъ умственно здоровъ и долго это не можеть продолжаться... Я заболькь болье духовно, чыть физически-бросиль все и пожхаль въ степь къ башкирамъ-дышать воздухомъ, пить кумысь и жить животной жизнью >.

Какимъ же образомъ отъ этого полубезумнаго дущевнаго состоянія пришель Толстой къ тому внутреннему спокойствію, которое, по его собственнымъ словамъ въ «Исповъдь», дали ему первыя пятнадцать лѣтъ семейной жизни? Объ этомъ въ «Исповъдь» почти ничего не говорится. «Исповъдь» разсказываетъ лишь о томъ, почему съ Толстымъ произошелъ перевороть въ концъ семидесятыхъ годовъ, какъ же онъ спасся отъ своихъ ужасовъ въ молодости, объ этомъ мы можемъ судить, върнъе, умозаключать, лишь по тъмъ слъдамъ, которые его внутреннія переживанія оставили на его художественныхъ произведеніяхъ. Въ «Исповъди» мы находимъ всего лишь одно, правда чрезвычайно важное и цънное для насъ указаніе. «Я бы,—говоритъ Толстой,—уже тогда (т.-е. до женитьбы) пришелъ къ тому отчаянію, къ которому я пришель черезъ пятнадцать лѣтъ, если бы у меня не было еще одной стороны жизии, неизвъданной еще мною в объщавшей мнъ спасеніе,—это была семейная жизнь».

Указаніе чрезвычайно цінное. Во-первыхь, мы узнаемь изъ него, что еще въ молодости Толстой уже зналь припадви того отчаннія, которое впослідствін, по его признанію, чуть не довело его до самоубійства. А, во-вторыхь, что для насъ еще важніе, мы можемь установить факть, что противь самаго безумнаго отчаннія—есть средство, и не то, о которомь говорить Толстой въ «Исповіди» (т.-е. не религія). Правда, средство временное, не на всю жизнь. Но відь пятнадцать літь—сронь не малый.

II.

Толстой говорить, что средство это—семейная жизнь, т.-е. что семейная жизнь спасла его. Какъ будто похоже на правду—но если внимательно ознакомиться съ тъми произведеніями, которыя Толстой написаль

въ теченіе первыхъ пятнадцати льть посль своей женитьбы, никакъ нельзя согласиться, что его спасла возможность извёдать еще одну неизвёданную сторону жизни. Весьма въроятно, что Толстой, если бы не женился, забольть бы, сошель бы въ концъ-концовъ съ ума, даже, можеть быть, покончить бы съ собой. Но это не значить, что семья дала содержание пятнадцати годамъ его жизни. Въ немъ были живы и иные страсти, увлеченія и интересы, въ немъ были скрыты не только тѣ силы, которыя нужны человеку для того, чтобы быть счастливымъ мужемъ и отцомъ. Первыя пятнадцать леть его семейной жизни были расцветомъ его творческихъ силь: онъ написаль «Войну и Миръ» и «Анну Каренину». И, если теперь онъ сводить всю свою жизнь этого періода лишь къ семейному счастью, то лишь потому, что теперь она уже не нужна ему и потому забыта. Толстой менте чемъ кто-нибудь другой умфетъ и, главное, хочетъ цънить то, что ему сейчасъ не нужно или безполезно. Съ неблагодарностью, которую онъ такъ тонко въ свое время подметиль въ Наполеоне, онъ боготворить свои иден, пока онъ по первому зову стройными рядами бъгуть служить ему, но онъ же бросаеть ихъ, когда онъ обезсиливають и не могуть больше работать на него, какъ бросиль Наполеонъ въ Россіи своихъ замерзавшихъ солдатъ. Такая неблагодарность свойственна, должна быть свойственна всёмъ великимъ дюдямъ. Они умёють безъ сожаленія разбрасывать богатства, ибо въ нихъ живетъ сознательная или безсознательная въра, что богатства будуть, были бы только они, великіе люди. Топну ногой-и изъ-подъ земли явятся легіоны. Нъть ни одного великаго человька, который бы въ техъ или иныхъ выраженіяхъ, вслухъ или мысленно, не произносиль этой фразы. Толстой въ этомъ отношения смълъе, безпощаднъй и безпечнъе, чъмъ Наполеонъ или Помпей. Оттого его слова и учение столь многихъ отпугивають. Онъ все разрушаеть, все уничтожаетъ-чъмъ послъ этого жить? Но Толстому не страшно. Или, върнъе, страшно, очень страшно. Все, что онъ разсказываетъ о своихъ мучительныхъ кризисахъ, нисколько не преувеличено: его искренность виъ всякихъ подозрвній. Но эти муки такъ же естественны и нужны Толстому, какъ женщинъ муки родовъ. Сильнъйшая, невыносимъйшая боль есть привнакъ появленія на свёть новой жизни. И, какъ извёстно, женщина должна добровольно причинить ее себъ.

У Толстого мевыносимыя муки отчаннія всегда предшествують всякимъ переворотамъ въ его душѣ. Такъ было послѣ перваго кризиса, такъ было послѣ второго. Вспомнимъ, какъ описана въ «Войнѣ и Мирѣ» исторія Пьера Безухаго. Пьеръ постепенно и незамѣтно погружался въ отвратательнѣйшую тину пошлости. Нелѣпые и дикіе кутежи съ Курагинымъ и Долоховымъ, потомъ еще болѣе нелѣпая женитьба, постылая жизнь съ совершенно чуждой ему во всѣхъ отношеніяхъ женой, бездѣлье и клубное время-препровожденіе, дуэль, массонство и т. д. Пьеръ, еще молодой человѣкъ, до такой степени запутался, что, казалось, для него нѣтъ и не можеть быть спасенія. И вотъ спасеніе пришло, пришло именно оттуда,

откуда его можно было менъе всего ожидать и въ такой моменть, когда, казалось, судьба занесла надъ Пьеромъ свою руку, не затъмъ, чтобы спасти его, а чтобы добить. Моментъ просвътлънія, очищенія Пьеръ испыталь въ вечеръ того дня, когда французы на его глазахъ разстръляли пять человъкъ русскихъ плънныхъ (заподозрънныхъ въ поджогахъ), когда самъ онь быль на очереди въ разстрему и избежаль вазни лишь благодаря какой-то таинственной, почти чудесной случайности. Вотъ въ какихъ словахъ описываеть Толстой душевное состояние Пьера: «съ той минуты, когда Пьеръ увидаль это страшное убійство (казнь русскихъ), совершонное людьми, не хотевшими это делать, въ душе его была какъ будто бы вдругъ выдернута та пружина, на которой все держалось и представлялось живымъ, и все завалилось въ кучу безсмысленнаго сора. Въ немъ, хотя онъ и не отдаваль себъ отчета, уничтожилась въра и въ благоустройство міра, и въ человъческую и свою душу, и въ Бога. Это состояніе было испытываемо Пьеромъ и прежде, но никогда съ такой силой, какъ теперь. Прежде, ногда на Пьера находили такого рода сомежнія, сомежнія эти имели источникомъ собственную вину. И въ самой глубинъ души Пьеръ тогда чувствоваль, что отъ того отчаннія и техъ сомненій было спасеніе въ самомъ себъ. Но теперь онъ чувствоваль, что не его вина была причиной того, что міръ завалился въ его глазахъ и остались одни безсиысленныя развалины. Онъ чувствоваль, что возвратиться къ въръ въ жизнь-не въ его власти». Я, конечно, могъ сделать небольшую сравнительно выдержку изъ тъхъ мъсть «Войны и Мира», которыя относятся въ жизни Пьера во время нашествія Наполеона на Москву. Сов'ятую читателю, который кочеть ближе подойти въ переживаніямъ Толстого, внимательно перечесть всё эти мъста. Они многому научають и многое объясняють, разумъется, въ томъ условномъ и ограниченномъ смыслъ, въ какомъ слова «объясиять» и «научать» примънимы, когда рычь идеть о последнихъ вопросахъ человеческой жизни.

Какъ извъстно, Толстой впоследствии отрекся отъ «Войны и Мира» и отъ «Анны Карепиной». Въ своей «Исповеди» онъ открыто заявиль, что его романы были силошной ложью. «Несмотря на то, что я считаль писательство пустяками, въ продолжение этихъ пятнадцати лётъ (после женитьбы) я всетаки продолжаль писать. Я вкусиль уже соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознаграждения и рукоплесканий за мой ничтожный трудъ, и предавался ему, какъ средству улучшения своего матеріальнаго положения и заглушения въ душе всякихъ вопросовъ о симслежизни моей и общей».

Передъ нами два автобіографическихъ утвержденія Толстого, раздѣленныхъ приблизительно промежуткомъ времени лѣтъ 12—15. Оба звучатъ необывновенной искренностью и правдивостью, хотя по содержанію они взаимно другъ друга исключаютъ. Не можетъ быть, чтобы Толстой въ «Исповѣди» разсказывалъ неправду, но не можетъ быть тоже, чтобы человѣкъ, который думалъ только о славѣ и деньгахъ, такъ разсказалъ бы

устами Пьера о своей душевной борьбѣ. Противорѣчіе покажется еще болѣе загадочнымъ и страннымъ, если мы прослѣдимъ дальнѣйшую исторію, вѣрнѣе, дальнѣйшія метаморфозы души Пьера. Получится, будто авторъ «Исповѣди» злостно—и какъ будто безъ всякой нужды—оклеветалъ автора «Войны и Мира», въ концѣ-концовъ самого себя.

Мы помнимъ, что разстрълъ русскихъ плънныхъ произвелъ на Пьера подавляющее, уничтожающее впечатлёніе. Нътъ больше никакой надежды, все погибло, все пропало: ни въ себъ, ни виъ себя-нигдъ не найти спасенія. И воть въ ночь того же дня, когда Пьеръ съ такой безпощавмой очевидностью убъдился, что весь міръ, вся жизнь-безумная и отвратительная фантасмагорія, въ ту ночь, когда онъ окончательно и навсегда потеряль всякую въру и всякую надежду, съ нимъ произопло начто такое, для обозначенія чего я нахожу лишь одно слово: чудо. Опять буцемъ говорить словами Толстого. После разговора съ Платономъ Каратаевымъ, котораго Пьеръ впервые встрътиль вечеромъ послъ разстръла русскихъ пленныхъ, онъ, какъ и остальные его товарищи по балагану, улегся спать. «Наружи слышались гдё-то вдалеке плачь и крикь, и сквозь щели балагана видивлея огонь; но въ балаганъ было тихо и тепло. Пьеръ долго не спаль и съ открытыми глазами лежаль въ темнотъ на своемъ мъстъ, прислушиваясь къ мърному храпънію Платона, лежавшаго подлъ него, и чувствоваль, что прежде разрушенный мірь теперь съ новой красотой, на какихъ-то новыхъ и незыблемыхъ основахъ, двигался въ его душъ».

Если мы сопоставниъ и внимательно вглядимся въ то, что произошло съ Пьеромъ въ теченіе одного дня, даже въ теченіе нісколькихъ часовъ одного и того же дня, мы будемъ поражены: отъ крайняго отчаннія и совершеннаго, окончательнаго невърія въ Бога, въ міръ и людей, онъ перешель въ твердой, прочной, незыблемой въръ въ міръ и Творца. Въдь это-чудо, самое настоящее, ничъмъ не объяснимое чудо, вродъ воскресенія Лазаря! Какъ могло это случиться? Не выдумаль ли все это Толстой для того, чтобы, какъ онъ разсказываеть въ «Исповъди», получить много денегь и рукоплесканій? Но если это такъ, если Толстой все это выдумаль, то кто поручится тогда намь, что его писанія послѣ «Исповъди» и сама «Исповъдь» не есть выдумка и обманъ ради накой-нибудь пока еще не открывшейся намъ целя? Можетъ быть, после смерти Толстого кто-нибудь доставить намъ матеріаль, изъ котораго мы убъдимся, что не только въ первыя пятнадцать лёть послё своей женитьбы, но и последнія тридцать леть жизни онь писаль не то, что въ самомь пеле думаль и въ чемъ быль убъжденъ, а то, что, по его соображеніямъ, могло ему дать если не деньги и славу, къ которымъ онъ сейчасъ и въ самомъ пълъ равнодушенъ, то какое-либо иное «благо» — скажемъ, хотя бы власть надъ людьми, которая въ извъстномъ возрасть болье мила человъку, чъмъ деньги, женщины и даже слава?!

Не будемъ, однако, торопиться съ разъяснениемъ замъченныхъ нами противоръчій. Да и вообще, миъ кажется, толстовскія противоръчія, какъ и противоръчія всякой большой и мятежной души, не подлежать окончательному разъясненію. Если вы хотите последовательности, внутренняго пада—изучайте жизнь средняго протестантскаго пастора, добросовъстнаго профессора или шиллеровскаго «честнаго рыбака». У Толстого же и людей на него похожихъ нужно искать скоръй путаницы и безпорядка. Противоръчія въ ихъ жизни, мышленіи и дъятельности необходимо выдвигать и изучать, но отнюдь не затъмъ, чтобы претворять ихъ въ одномъ общемъ синтезъ. Вся жизнь и все творчество Толстого носять явные слъды непокорности и произвола какъ въ большомъ, такъ и въ маломъ. Сейчасъ приведемъ нъсколько чрезвычайно любопытныхъ примъровъ, которые объяснять и подтвердять наши слова.

Въ первой части «Войны и Мира» Толстому, между прочимъ, приходится описывать, какъ полкъ встръчалъ главнокомандующаго Кутузова, во второй, какъ съкли провинившагося солдата, въ пятой, какъ пълъ знаменитый оперный пъвецъ. Если бы ему теперь пришлось это сдълать, въроятно, вышло бы у него совствъ не то. Тогда, однако, Толстой еще любилъ многое такое, къ чему впоследствіи сталъ равнодушенъ, но любилъ, менте всего сообразунсь съ тъмъ, что вообще цънятъ и любятъ люди. И, что опъ любилъ—было хорошо, цънно, значительно, чего не любилъ—пошло и смъщно. И свои сужденія онъ упълъ высказывать съ такой неподражаемой увтренностью и искренностью, что они казались абсолютно истинными и невольно заражали.

«Бдеть!—закричаль махальный.

«Полковой командиръ, покраснѣвъ, подбѣжалъ къ лошади, дрожащими руками взялся за сѣдло, перекинулъ тѣло, оправился, вынулъ шпагу, и съ счастливымъ, рѣшительнымъ лицомъ, набокъ раскрывъ ротъ, приготовился крикнуть. Полкъ встрепенулся, какъ оправляющаяся птица, и замеръ.

«— Смир-р-р-рно!—закричалъ полковой командиръ потрясающимъ душу голосомъ, радостнымъ для себя, строгимъ въ отношения къ полку и привътливымъ въ отношения къ подъёзжающему начальству».

Второй примъръ-описание тълесного наказания.

- «... Князь Андрей набхаль на фронть взвода гренадеръ, передъ которымъ лежалъ обнаженный человъкъ. Двое солдатъ держали его, а двое взмахивали гибкіе прутья и мёрно ударяли по обнаженной спинъ. Наказываемый неестественно кричалъ. Толстый майоръ ходилъ передъ фронтомъ и, не переставая и не обращая вниманія на крикъ, говорилъ:
- с— Солдату позорно красть, солдать должень быть честень, благороденъ и храбръ; а коли у своего брата украль, такъ у него чести иътъ; ото мерзавецъ. Еще, еще!

«И все слышались гибкіе удары и отчаянный, но притворный крикъ». Теперь описаніе оперы. Привожу не цёликомъ, что было бы слишкомъ плино и для нашей цёли излишне.

«Мужчина въ обтянутыхъ панталонахъ пропълъ одинъ, потомъ про-

пёла она. Потомъ оба замолчали, заиграла музыка, а мужчина сталъ перебирать пальцами руку дёвицы въ бёломъ платьё, очевидно, выжидая опять такта, чтобы опять начать свою партію виёстё съ нею. Они пропёли вдвоемъ, и всё въ театрё стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сценё, которые изображали влюбленныхъ, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться».

Военная команда близка сердцу Толстого. Голосъ командира полка потрясаеть душу. Онъ такъ выразителенъ, содержателенъ, что въ немъ можно различить три оттънка: онъ и радостенъ, онъ и строгъ, онъ и привътливъ. Въ голосъ же наказываемаго розгами Толстой почти вичего не различаетъ. Его больше занимаютъ взмахи гибкихъ прутьевъ. А крикъ солдата — неестественный, притворный, ненужный и назойливый. Опера же—лишь дорого стоящій шумъ, въ знаменитомъ пъвцъ поражаютъ только панталоны въ обтяжку...

Впосмъдствін, какъ извъстно, въ такомъ родъ Толстой говориль не объ оперъ, даже не о музывъ вообще, а обо всемъ искусствъ. И въ приведенных трехъ описаніяхь сказался весь Толстой съ его въчной непокорностью. Онъ всегда чего-то ищеть, чего-то добивается. И то, что помогаетъ ему въ его борьбъ и исканіяхъ, въ его великомъ жизненномъ дълъ, то онъ, не справляясь ни у кого о разръщени, объявляеть хорошимъ, все же, что ему мъшаетъ, онъ столь же произвольно (или, если вамъ больше нравится, автономно) причисляетъ къ дурному, ложному, притворному, не заслуживающему вниманія и интереса. Онъ самъ по поводу переживаній Пьера дасть намъ драгоцівное указаніе, чімъ руководится человькъ, конечно, такой человъкъ, который не повторяетъ всябдъ за другими принятыхъ мибній, а умбеть и старается въ словахъ выразить свою действительную сущность: ... Съ той минуты, какъ Пьеръ созналь появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно: ни трупъ, выназанный для забавы сажей, ни эти женщины, спъшившія куда-то, ни пожарище Москвы. Все, что видъль теперь Пьерь, не производило на него почти никакого впечатленія-какъ будто душа его, готовясь въ трудной борьбъ, отвазывалась принимать впечатленія, которыя бы иогли ослабить ее». Вотъ основной двигатель Толстого и въ большихъ, и въ малыхъ дълахъ. Онъ соприкоснулся съ какой-то таинственной силой, которан даеть ему державное право законодательствовать -- созидать и разрушать міры. Онъ принимаеть то, что ему нужно, онъ отвергаеть все, что ему мъшаеть, хотя бы это было величайтей цънностью въ глазахъ всего человъчества.

Такъ судить онъ о военной командѣ, о тѣлесномъ наказаніи, оперѣ, искусствѣ, наукѣ, Наполеонѣ, исторіи и т. д.—обо всемъ, о чемъ ему приходится судить. И этому самодержавію мысли выучило его отчаяніе: отчаяніе многому выучиваетъ. Даже такой человѣкъ, какъ Гёте, черпалъ свои силы въ этомъ отверженномъ всѣми и навѣки проклятемъ людьии источникѣ....

III.

Лѣть пять тому назадь вышла книга знаменитаго американскаго психолога Джемса подъ названіемъ «Многообразіе религіознаго опыта». Книга во многихъ отношеніяхъ необычайно интересная и даже, пожалуй, прямо замѣчательная. Джемсъ по своимъ уиственнымъ привычкамъ и по своему воспитанію прежде всего—если угодно даже послѣ всего—ученый, т.-е. человѣкъ, привыкшій къ самой строгой осмотрительности. Прежде чѣмъ отрѣзать, онъ, по русской поговоркѣ, семь разъ отмѣритъ. Это въ немъ драгоцѣннѣйшая черта, которая становится положительно неоцѣнимой въ внду его готовности отказаться если не отъ всѣхъ, то, по крайней мѣрѣ, отъ многихъ коренныхъ предразсудковъ, свойственныхъ той средѣ, въ которой онъ воспитывался, жилъ и работалъ съ молодыхъ лѣтъ. Уже въ самомъ началѣ своей книги онъ ставитъ столь непривычный, почти неестественный для ученаго вопросѣ: кто даетъ намъ право утверждать, что опытъ и переживанія пормальныхъ людей должны составлять единственный матеріалъ и источникъ истинныхъ сужденій?

Ненормальный челевскы живеть, чувствуеть и думаеть; съ какой же стати станемы мы отбрасывать, какъ непригодное для познанія, все содержаніе его часто богатой, своеобразной и содержательной жизни? А что,
если какъ разъ его чувства и мысли могуть привести насъ къ такимъ
знаніямъ, даже откровеніямъ, о которыхъ нормальные люди даже и мечтать не сміють? Подчеркиваю: вопрось этоть поставлень не мечтателемъпоэтомъ, даже не философомъ-художникомъ, вроді Шопенгауэра или Ництельной» мысли. Его учебникъ психологіи переведенъ на многіе европейскіе языки и служить настольной книгой для профессоровъ.

Напомню, что уже почти полвёка тому назадъ этотъ вопросъ въ такой же, пожалуй, даже въ более резкой и удачной форме, быль поставленъ у насъ въ Россіи. Только не ученымъ, пользующимся большой славой и авторитетомъ, а малоизвёстнымъ тогда писателемъ, Достоевскимъ,
въ его романъ «Преступленіе и Наказаніе». Свидригайловъ, разговаривая
съ Раскольниковымъ о галлюцинаціяхъ, признаетъ, что галлюцинаціи бываютъ только у больныхъ, ненормальныхъ людей, но дёлаетъ допущеніе,
что это обстоятельство ничего собственно противъ реальности галлюцинацій не говоритъ. Можетъ быть, условіемъ постиженія извёстнаго рода реальностей является болёзнь: здоровому недоступно то, что доступно больному »). Тогда же одинъ извёстный, вліятельный и научно-образованный

^{*)} Приведу буквально слова Свидригайлова: "Я согласень, что привиденія явдинтся только больнымь; но вёдь это только донавиваеть, что привиденія могуть являться только больнымь, а не то, что ихъ нёть самихь по себё... Привидёнія это, такь сказать, клочки и отрывки другихь міровь, ихъ начало. Здоровому человеку мхъ, разумёстся, незачёмь видёть, потому что здоровый человёкь есть наибоже земной человёкь и, стало быть, должень жить одной здёшней жизнью, для пол-

критикъ, приведя эти соображенія Свидригайлова и, сопоставляя съ неми рядъ другихъ мыслей разныхъ героевъ Достоевскаго, по своему содержанію и характеру очень напоминавшихъ изложенную мысль Свидригайлова, замѣтилъ: «счастливый народъ беллетристы! Когда нашему брату, ученому человѣку, приходитъ въ голову дикая мысль, мы не можемъ сдѣлать изъ нея микакого употребленія. Нельзя даже признаться, что она побывала у тебя въ головѣ! Беллетристъ же—дѣло иное: ему всякая дичь годится. Вложитъ ее «въ уста» дѣйствующаго лица и правъ: никто ничего возразить не можетъ».

Такъ вотъ дикая мысль Достоевскаго сейчасъ положена въ основание обширнаго изследованія знаменитаго современнаго ученаго. Ненормальность, какъ и нормальность человъка сами по себъ ничего не говорятъ ни за, ни противъ его внутренняго опыта. Значительность и незначительность переживаній опредъляется по совсёмь инымъ признакамъ. Даже болье того, особенно важныя, интересныя и глубокія переживанія, какъ показали наблюденія, свойственны именно людямъ ненормальнымъ, больнымъ. Сюда, между прочимъ, относится и вся почти область религіознаго опыта. Съ посябднимъ утвержденіемъ Джемса представители положительной науки, само собою разумъется, охотно согласятся: для нихъ религія прикомр относится вр области натологіи и является предметомр изученія дишь постольку, поскольку вообще подлежать изученію всв бользненныя проявленія нашего духа и тіла: ихъ нужно знать, чтобъ найти средства бороться съ ними. Джемсъ же, какъ и Достоевскій (только совершенно открыто и сибло-время, видно, пришло другое), ищетъ у больныхъ людей новыхъ истинъ и озареній, даже новыхъ методовъ добыванія истины. Себя самого онъ признаеть, повидимому, недостаточно больнымъ человъкомъ и почти что считаетъ это своимъ недостаткомъ, который ограничиваеть его познавательныя способности, такъ что приходится прямо-таки поступать въ науку къ ненормальнымъ людямъ, и въ тъхъ случаяхъ, когда, въ силу связанной съ недостаточной бользненностью ограниченности личнаго опыта, самъ ничего узнать же можешь, полагаться на опыть болье счастинных въ этомъ смыслъ больныхъ людей.

- Больше всего Джемса интересуеть, какъ оно и вполив понятно, то, что религіозные люди называють откровеніемь. По своему личному опыту Джемсь совсёмь не можеть судить объ откровеніи, ибо самъ ничего такого не испыталь. Но изъ разсказовь и записокъ вёрующихъ, въ особен-

ноты и для порядка. Ну, а чуть заболёль, чуть нарушился нормальный, земной порядокь въ организмів, тогчась и начинаеть сказываться возможность иного міра, и чімь больше болень, тімь и соприкосновеній съ другимь міромь больше. Свидригайловь еще ділаеть своеобразный выводь: "такъ что,—кончаеть онь свое разсужденіе,—когда умреть совсёмь человіскь, то прямо и перейдеть въ другой мірь. Джемсь такого вывода не ділаеть и вообще формулируеть свои мысли менёе резьефно, чімь Свидригайловь.

ности обращенныхъ, т.-е. перешедшихъ отъ невѣрія къ вѣрѣ людей, можно узнать много такого, чего самъ не видѣлъ и не слышалъ. И Джемсъ добросовѣстно изучалъ, насколько возможно, показанія религіозныхъ людей, сличалъ ихъ между собой и пришелъ къ заключенію, что откровеніе—это фактъ, съ которымъ нельзя не считаться, и что люди, испытавшіе откровеніе, знаютъ многое такое, чего люди обыкновенные не знаютъ.

Между прочимъ, приводя показанія многихъ другихъ болье или менье извъстныхъ религіозныхъ мыслителей и никому неизвъстныхъ обращенныхъ частныхъ лицъ, Джемсъ не разъ ссылается и на нашего Толстого. Но, повидимому, изъ всёхъ работъ этого последняго Джемсь знаеть одну лишь «Исповедь». Во всякомъ случае, несомиенно, что либо художественное творчество Толстого ему почти незнакомо, либо онъ совствиъ не умълъ использовать его для целей своего изследованія. Это, можеть быть, объясняется и темъ обстоятельствомъ, что Джемсъ подбираль все случаи ярко выраженной религіозности и, какъ часто бываеть въ такихъ случаяхъ, иной разъ придавалъ слишкомъ много значенія ярлыку, витшнему, словесному признанію, если угодно офиціальному положенію человъка, его паспорту. Если данное лицо афишируеть себя върующимъ и, еще мучие, всеми признается за такового, Джемсъ допрашиваетъ его и внимательно слушаеть. Называеть оно себя безбожникомъ или даже просто никогда громко не говоритъ о своей въръ-онъ спокойно и пренебрежительно проходить мимо него, въ уверенности, что отъ него опъ ничего не узнаеть. Такъ минуеть онъ Ницше, Гейне, Ибсена, Шопенгауэра, Ренана и другихъ, которые могли бы его научить очень многому. Я думаю, что отчасти причина въ томъ, что, какъ признается самъ Джемсъ, ему лично совершенно чуждъ «мистическій» опыть, и онъ является лишь добросовъстнымъ, но объективнымъ, постороннямъ наблюдателемъ. При такихъ условіяхъ приходится придавать слишкомъ большое значеніе наружнымъ, видимымъ и осязаемымъ признакомъ и нельзя не просмотръть миогое существенное.

Насъ, однако, здёсь занимають не недостатки и неудачи джемсовыхъ начинаній, а его удачи. Важно, чрезвычайно важно уже и то, что осторожно, съ опаской высказанная когда-то Достоевскимъ мысль теперь не только не боится осужденія ученой критики, но имѣетъ за собой крупный научный авторитетъ. Допускается источникъ познанія, который прежде встрёчался въ лучшихъ случаяхъ добродушной насиёшкой. Можно уже говорить, самъ Джемсъ иного и серьезно говорить объ откровеніи.

Особенно насъ интересуеть то, что непосредственно относится къ цереживаніямъ Толстого. Мы оставили Пьера (т.-е. Толстого) въ тотъ моменть, когда съ нимъ произошло великое чудо внезапнаго просвътлънія. Произошло оно, какъ мы помнимъ, тогда, когда этого менъе всего можно было ожидать, послъ того, какъ подъ вліяніемъ пережитыхъ имъ нечеловъческихъ ужасовъ онъ потерялъ всякую въру и всякую надежду, когда

" . . .

онъ уже даже не боролся больше, не могь думать о борьбъ, когда у него опустились руки, и онъ пассивно, безсмысленно, съ тупымъ отчаяніемъ, шелъ навстръчу своей гибели,—словомъ, въ тотъ моментъ, когда для него уже было все и навсегда кончено.

И воть оказывается, что случай съ Пьеромъ чуть ли не является въ своемъ родъ типическимъ. Мало того, выясняется, что такого рода переживанія, какъ прекрасно показываетъ Джемсъ, были источникомъ того религіознаго ученія, которое въ шестнадцатомъ стольтіи потрясло всю Европу. У насъ, съ легкой руки Достоевскаго, принято пренебрежительно относиться къ Лютеру и его ученію. У насъ думаютъ, что протестантство—это протестъ здраваго смысла и средней добродътели противъ всего, что было загадочнаго, таинственнаго, объщающаго и прекраснаго въ католичествъ. Если угодно, нъкоторый смыслъ и правда есть въ такомъ предположеніи. Современное намъ протестантство въ значительной степени является обожествленіемъ уръзанной, буржуазной морали. Но относить это на счетъ Лютера было бы въ такой же мъръ несправедливо и исторически невърно, какъ обвинять христіанское ученіе въ ужасахъ инквизиціи.

Христіане, т.-е. называвшіе себя последователями Христа, действительно жгли на кострахе и пытали людей, но Христось этому не училь. И Лютерь быль слишкомь глубокой, мощной и одаренной натурой для того, чтобы измышлять религію для осёдлаго и устроеннаго буржуа. Его основная догма о спасеніи вёрой (та каке разе, которую особенно высмёнваеть и раціоналистически оспариваеть Толстой) менёе всего предназначалась къ тому, чтобы облегчить благополучный переходь въ будущую жизнь благополучнымь обитателямь здёшняго міра—каке думають тё, которые знають ученіе Лютера, каке рядь догмь, оторванныхе оть человёка, ихе создавшаго.

И, въ самомъ дълъ, какемъ возмутительнымъ и плоскимъ на первый взглядъ кажется ученіе, утверждающее, что христіанинъ можеть спастись върою и только върою, а отнюдь не дълами, не своими личными заслугами! Въ сущности эта догма какъ бы выворачиваетъ наизнанку все Евангеліе, въ которомъ столько разъ и такъ настойчиво утверждается, что въра безъ дъль мертва. Но послушайте самого Лютера: «Богъ, —говорить онъ, есть Богъ смиренныхъ, несчастныхъ, угнетенныхъ, отчаявшихся, уничтоженныхъ; сущность его въ томъ, чтобы вдохновлять смиренныхъ, питать голодныхъ, возвращать зраніе слапымъ, уташать опечаленныхъ, оправдывать грешниковъ, воскрешать мертвыхъ, спасать погибшихъ и утратившехъ надежды... Единственнее препятствіе, которое Богь встръчаеть на своемъ пути и которое не даетъ Ему совершить Его природное, Его главное выпо-это дьявольское мнание человака о самомъ себа: человакъ считаеть себя правымъ и справедливымъ и не хочеть быть подлымъ, преэрфинымъ и заслуживающимъ осужденія грфшникомъ. Потому-то приходится Богу взять въ руки свой молотъ, т.-е. законъ, чтобы изломать, разбить, обратить въ прахъ, уничтожить гордость этого дикаго звърн,

именуемаго человъкомъ... И такъ велика тупость человъческаго сердца, что въ этой борьбъ своей совъсти, когда божественный законъ исполниль свое дело, онъ все еще не хочеть принять догму благодати и понять смысль того, что съ нимъ происходить. Онъ все хочеть спастись инымъ путемъ. *«Въ будущемъ, -- говорить онъ, -- я исправлюсь, я стану делать то-то и то-то». Но, если ты не поступишь совершенно обратно, если ты не откажещься стъ Монсея съ его законами, если въ своихъ мукахъ и ужасахъ ты не почуешь Христа, страдавшаго, распятаго, умершаго за твои грахи-теба инкогда не спастись. Что можещь представить ты? Свою власяницу, тоизуру, свое целомудріе, повиновеніе, бедность? Что все это? Что даеть тебъ законъ Моисея и дъла закона? Если бы я могъ, благодаря мониъ деламъ и заслугамъ, придти къ Христу и достойно любить его,для чего же понадобилось, чтобы Онъ быль преданъ ради меня? Но нъть ни одного сокровища ни на небъ, ни на землъ, которое было бы достаточно цённо, чтобы искупить мои грёхи-только быль одинь Сынь Божій, поэтому и понадобилось предать Его. Чтобы спасти меня, Онъ отдалъ не овцу, не вола, не золото, не серебро-онъ отдалъ самого себя, всего себя-за меня, самаго отверженнаго, самаго презръннаго изъ всъхъ гръшниковъ. Сынъ Божій умеръ-это вновь даеть мий мужество. Я для себя принимаю эту смерть: въ этомъ истинная сила въры. Ибо Онъ умеръ не для того, чтобы оправдать праведниковъ, но чтобы оправдать грешниковъ, чтобы они стали друзьями Бога, наслёдниками трона небеснаго».

«Сынъ Божій умеръ-это даеть мит мужество, въ этомъ истинная въра» — если ножете постигнуть, преклонитесь предъ глубиной этого величайшаго и таинственнъйшаго парадокса. Онъ стоить на пути всякаго, кто не хочеть или не можеть удовлетвориться обыденными представленіями о сущности жизни. Его нельзя обойти. И Толстой, какъ мы видъли, испытанъ это. Пьеръ увърованъ только после того, какъ почувствовалъ, что Богъ умеръ, что онъ самъ навсегда и окончательно погибъ, что нътъ для него ни на земяв, ни на небъ спасенія. Почему такъ-я не знаю и не умью объяснить; больше того, я понимаю, что такое утверждение находится въ противоръчіи съ логикой, съ здравымъ смысломъ и со всёмъ повседневнымъ опытомъ человъка. Но есть еще какой-то опыть, который заставляеть остановиться предъ собой даже научно вышколеннаго, осторожнаго и строго безпристрастнаго человака. «Чамъ болве вы чувствуете себя погибшимъ, -- такъ резюмируетъ Джемсъ приведенныя выше слова Лютера, - тъмъ болъе вы именно тотъ гръшникъ, который уже спасенъ жертвой Христа. Эту доктрину Лютеръ вынесъ изъ собственного опыта». Изъ собственнаго опыта-вы слышете, вы понимаете, что это значить?! Изъ такого же реальнаго опыта, какъ и тотъ, изъ котораго наука до сихъ поръ выводила свою теорію естественнаго развитія или свой законъ привинности. Но навъ же согласить эти два опыта? И согласимы ли они? Въроятно, нътъ. По врайней мъръ до сихъ поръ никто не умълъ согласовать ихъ. То, что кажегся истиной человъку одного опыта, представляется явной нелъпостью для человъка другого опыта. Отсюда знаменитое стебо quia absurdum, на которое такъ часто и такъ несправедливо нанадаеть Толстой. Но если есть два столь различныхъ, принънзющихъ
другь нь другу эпитетъ absurdum опыта; если одинъ человънъ съ ужесомъ,
другой съ надеждой говоритъ: Сынъ Божій умеръ; если ожинъ и тотъ же
человънъ въ одинъ и тотъ же день, какъ это было съ Пьеромъ, въ одинъ
и тотъ же часъ, какъ это было съ другими, можетъ разрушитъ и вновь
создать цълый міръ,—то развъ стоитъ върить въ нашу логику, въ наши
доказательства, въ наши законы и жизненныя правила?

IY.

Пьеръ - Толстой разрушиль и вновь создаль міръ. И сталь жить въ новомъ, такъ неожиданно и чудесно созданномъ мірѣ. Разумѣется, у Толстого была не только семья, какъ можно думать по приведеннымъ выше словамъ «Исповъди». У него была цъль жизни, т.-е. онъ чувствовалъ свою жизнь осимсленной. Все кругомъ него казалось ему прекраснымъ вплоть до душистаго бульона и мягкой, чистой постели. Одновременно съ разрушеннымъ старымъ міромъ ўничтожнянсь и всё эмпирическія затрудненія, которыя прежде отравляли жизнь Пьеру. Даже жена его Эленъ, которая одна стоила тысячи всякихъ другихъ трудностей и пожалуй, чего добраго могла бы совершенно уничтожить гармонію новых настроеній Пьера, даже и жена его чудеснымъ образомъ была сметена съ его пути, какъ и державшіе его въ плену и терзавшіе его французы. «Ахъ какъ хорошо! Какъ славно!>--говорияъ онъ себъ. По старой привычкъ онъ дъламъ себъ вопросы: «Ну, а потомъ что? что я буду делать?» И отвъчалъ себъ: «Ничего. Буду жить. Ахъ, какъ славно!» То самое, чъмъ онъ прежде мучился, чего онъ искалъ постоянно, цъли жизни-теперь для него не существовало. Эта искоман цёль жизии теперь не случайно не существовала для него только въ настоящую минуту жизни, но онъ чувствоваль, что ен нъть и не можеть быть. И это отсутствие цъли давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое въ это время составляло его счастье. Онъ не могь имъть цели, потому что онъ теперь имъль въру,не въру въ какія-нибудь правила или слова, или мысли, но въру въ живого, всегда ощущаемаго Бога. Прежде онъ искалъ Его въ целяхъ, которыя онъ ставиль себъ. Это исканіе цъли было только исканіе Бога. И вдругь онъ узналь въ своемъ плену не словами, не разсужденіями, но непосредственнымъ чувствомъ то, что ему давно уже говорила нянюшка: что Богь-воть Онь, туть, вездь. Онь въ плену узналь, что Богь въ Каратаевъ болъе великъ, безконеченъ и непостижниъ, чъмъ въ признаваемомъ насонами Архитектонъ вселенной... Есть Богъ, тотъ Богъ, безъ воли котораго не спадеть волосъ съ головы человъна». Написано все это Толстымъ для того, чтобы добиться денегь и славы? Въдь все это, какъ мы увидимъ, такъ похоже на то, что впоследстви, уже после «Исповеди».

послѣ своего второго кризиса писалъ Толстой о людяхъ, увѣровавшихъ въ Бога. И вообще всѣ тѣ черты, которын подмѣчаются въ обращенномъ Пьерѣ, должны быть свойственны, и по новѣйшему ученію Толстого, истинно религіознымъ людямъ. Пьеръ былъ всегда добръ, ласковъ и веселъ, всегда располагалъ къ себѣ окружающихъ и—въ противоположность тому, что было раньше—всегда зналъ, что ему можно и нужно и чего нельзя дѣлать. А вѣдь Толстой и до самаго послѣдняго времени неизмѣнно держится того мнѣнія, что религія главнымъ, чуть ли не исключительнымъ образомъ нужна для того, чтобы ясно, просто и легко разрѣшать страшный и для невѣрующихъ вѣчно мучительно неразрѣшимый вопросъ: что дѣлать? Пьеръ на этотъ вопросъ умѣлъ отвѣтить и отвѣтилъ. Значитъ, была у него вѣра?

У Левина, душевный кризись котораго изображень не съ такой уже любовью и стараніемъ, какъ кризисъ Пьера (Толстой самъ въ то время уже вплотную подходиль къ новымъ искушеніямъ), тоже все ясно, просто и понятно. И тъмъ не менъе конецъ «Анны Карениной» — совсъмъ не то, что конецъ «Войны и Мира». Недаромъ Толстой писалъ Фету: «Берусь за скучную и пошлую «Анну Каренину» съ единственнымъ желаніемъ поскоръй опростать себъ мъсто для другихъ работъ». Это признаніе неоспоримо искрение: Толстой тогда уже слышалт, гдъ-то на окраинъ своей души глухіе, чуть слышные пока раскаты грома-предвъстники великой грозы. Но вся «Война и Миръ» ясно и несомивнио свидетельствуеть о томъ, что въ тѣ годы (1864-1869) Толстой въ такой же степени считаль себя обладателень въры, въ накой считаеть себя и теперь. Если Богъ есть жизнь, если присутствие Бога въ человъкъ узнается по тому, что въ человъкъ пробуждается сила жизни, то безусловно Богъ быль въ Толстомъ эпохи «Войны и Мира». Во все, что онъ предпринималь, онъ вкладываль столько свёжей энергіи и молодой, радостной страсти, точно онъ былъ первымъ человъкомъ, вчера только явившимся по волъ Творца въ міръ, совершенно незнающимъ горькаго опыта и безконечныхъ разочарованій нашего многов'яковаго историческаго существованія. Онъ быль «эгоистомъ», но эгоистомъ въ лучшемъ смыслъ этого слова-онъ умълъ многое любить, и эта любовь связывала его не только съ родными и близкими, но и со всей Россіей. Онъ еще ближе подошель къ народу и умълъ взять его не только въ настоящемъ, но и въ прошломъ. Каждая строчка «Войны и Мира» говорить объ этомъ. Вспомнимъ хотя бы эти столь прославившіяся слова: «Влаго тому народу, который въ минуту испытанія, не спрашивая о томъ, какъ по правиламъ поступали другіе въ подобныхъ случаяхъ, съ простотой и легкостью поднимаетъ первую попавшуюся дубину и гвоздить ею до тахъ поръ, пока въ душа его чувство оскорбленія и мести не замінится презрівніємь и жалостью. Какая глубовая страсть, какой великольный и искренній навось! Мы могли бы безъ конца привопить отрывки изъ «Войны и Мира» и даже изъ «Анны Карениной», которые какъ нельзя болье доказывають, что Толстой совершенно радикально

излачился отъ своего прежняго неварія и сомнаній. По крайней мара, если позволительно думать, что о бользии и здоровьи мы въ правъ судить по жизни и дъятельности человъка. Больному все кажется увядшимъ, постылымъ, ненужнымъ, безцельнымъ. Здоровый во всемъ видитъ радость, красоту и свежесть молодости. Посмотрите, какъ Толстой этого періода чувствуетъ и описываетъ природу-солнце, звъзды, небо, лъсъ, ръку. Посмотрите, какъ чудесно передается у него торжественное благолъпіе церковной службы, которую онъ такъ безпощадно высмендъ впоследствии. Ни одной стороны жизни не оставиль онь безь вниманія, и все, даже безобразіе при его прикосновеніи получаеть смысль и оправданіе, иногда даже превращается въ врасоту. Крипостное право-видь его не видно въ «Войнъ и Миръ», хотя Толстому приходилось непрерывно описывать жизнь безправныхъ рабовъ. Даже ужасы войны въ концъ-концовъ нвляются только темнымъ фономъ, придающимъ хотя грозную, но прекрасную и заманчивую таинственность всёмъ событіямъ человіческой жизни. «Война и Миръ» есть одинъ непрерывный гимнъ, безнонечное славословіе Творцу, создавшему дивный міръ съ его неисчерпаемыми богатствами на радость и утъщение творению. Это им не въра?

И вдругь, къ величайшему недоумению и ужасу техъ, кто зналь, любиль и цениль Толстого-писателя, словно сразу порвались все струны того чудеснаго инструмента, на которомъ разыгрываль онъ свой гимнъ Творцу—появилась «Исповедь». Все, что я говориль до сихъ поръ,—занвияеть онъ дрожащимъ и прерывающимся отъ волненія и сдержаннаго чувства голосомъ,—все ложь и притворство. Ничего я не зналь, ни во что не вериль, но мив нужны были деньги и слава, и я притворялся все знающимъ учителемъ. Теперь, вдругъ почувствовавъ ужасъ приближающейся смерти, я всенародно каюсь и отрекаюсь отъ всего, что писалъ прежде...

У насъ, въ Россіи, «Исповъдь» въ теченіе четверти въва не могла быть напечатана; она распространялась лишь въ рукописи и не могла быть предметомъ публичнаго обсужденія, такъ что о ней сперва иногіе знали только по слухамъ и понемногу къ ней привыкли (человъкъ ко всему привыкаетъ)—оттого она и не произвела соотвътствующаго впечатлънія. Но если бы она вышла въ Россіи своевременно, т.-е. непосредственно вслъдъ за «Анной Карениной», она должна была бы произвести потрясающее впечатлъніе. Если «Война и Миръ» и «Анна Каренина» лживы—то гдъ же правда? Если Толстой, искренности и правдивости котораго такъ върнли, притворился и лгалъ и притомъ изъ такихъ низменныхъ побужденій, то кому же послъ этого върить? Толстой ничего не предприняль для того, чтобы помочь читателю своему отвътить на этотъ вопросъ. «Прежде я лгалъ, притворствовалъ, училъ, самъ ничего не зная—все ради денегъ и славы, теперь я искрененъ, говорю правду и знаю,—упорно повторнеть онъ,—и только. Разбирайтесь сами».

. Посмотримъ же, чемъ новая вера отличается отъ старой и въ чемъ

на нее похожа. Посмотримъ тоже, при нанихъ условіяхъ произошель второй призисъ, нанъ онъ пронвидся во вив и нъ нанимъ результатамъ привелъ онъ.

Y

Несомивнию, что главнымъ вдохновителемъ «Исповеди», какъ и всего толстовского творчества последнихъ тридцати леть, быль страхъ смерти. И этого спрывать не нужно, ибо въ этомъ натъ ничего позорнаго. Скоръй наоборотъ, человъкъ, который никогда не ужасался сиерти и прожилъ всю свою жизнь такъ, какъ будто смерть и не ждетъ его впереди, долженъ поражать насъ своей почти животной ограниченностью. Павосъ ужаса смерти величайшій изъ изв'єстныхъ людямъ паносовъ. Трудно даже вообразить себъ, до чего плоской стала бы жизнь, если бы человъку не дано было предчувствовать свою неминуемую гибель и ужасаться ей. Въдь все, что создано лучшаго, наиболъе сильнаго, значительнаго и глубокаго во вськъ областякъ человъческаго творчества-въ наукъ, въ искусствъ, въ философіи и религіи, имъло своимъ источникомъ размышленія о смерти и ужасъ предъ ней. Какъ мы помнимъ, даже первая половина жизни Толстого получила свою силу и творческое напряжение только потому, что мысль о смерти и гибели доводила его до отчания. Въ этомъ отношения второй кризись по существу своему почти пичемь не отличается отъ перваго. Но отысканное въ молодости средство спасенія Толстой теперь считаетъ никуда негоднымъ и ищетъ иного, такого, которое выдержало бы всѣ испытанія. До сихъ поръ, какъ онъ разсказываеть, его въра въ Бога (онъ теперь, нужно замътить, свою прежнюю въру не называеть върой, но я считаю возможнымъ, даже необходимымъ говорить о его прежней жизни его прежними словами) была въра въ радости и хиель жизни. Онъ вспоминаетъ извъстную восточную сказку, символически изображающую нашу жизнь. Человъкъ висить на тонкой въткъ надъ глубовимъ колодцемъ. Вътку непрерывно грызутъ двъ мыши, черная и бълая, такъ что каждую минуту она можеть оборваться. На див колодца-страшный драконъ, который проглотить его, какъ только онъ упадетъ. Выйти изъ колодца-тоже нельзя: наверху стережеть страшный звёрь. И воть человъкъ, въ столь ужасномъ положеніи, вдругъ увидълъ нъсколько капель меду. И забывъ звъря, мышей и дракона, онъ бросается на медъ и наслаждается его сладостью. Вспоминаеть онъ также индусскую легенду о Сакіа-Муни, вышедшемъ изъ дворца, въ которомъ онъ такъ жилъ, что всё ужасы жизни были отъ него скрыты, и встретившаго нищаго, старика и мертвеца. Наконецъ, онъ дълаетъ большія выписки изъ Экклезіаста и повторяеть всибдь за бибиейскимъ мудрецомъ его приговоръ жизни: суета суеть и всяческая суета.

Все это образы, которые наиболье полно отражають въ себь отношеніе Толстого къ жизни. Толстой, однако, настанваєть, что онъ быль духовно и физически здоровь: онъ могь просиживать по 8, 10 часовъ за

Ė.

работой въ кабинетъ и не отставаль отъ мужиковъ въ поль за косьбой. Все это такъ, но въ здоровье человъка, котораго преслъдуетъ восточная сказка, легенда о Сакіа-Муни и стихи Экклезіаста, плохо върится. Правильнье было бы, если бы Толстой повториль то, что сказаль о себъ 15 леть тому назадъ: «я чувствоваль, что я несовсемъ здоровъ, и долго это продолжаться не можеть». Да собственно говоря, въ его «Исповъди» встръчаются такія описанія его душевнаго состоянія, которыя прямо говорять въ пользу нашего предположенія. «Случилось, —разсказываеть онъ о себъ, -то, что случается съ каждымъ, заболъвающимъ смертельною внутреннею бользнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомоганія, на которые больной не обращаеть винианія, потомъ признаки эти повторяются все чаще и чаще и сливаются въ одно нераздельное по времени страданіе. Страданіе растеть, и больной не успъеть оглянуться, какъ уже сознаетъ, что то, что онъ принялъ за недомогание, есть то, что для него значительные всего вы міры, есть смерть». Если принять еще вы соображеніе, что Толстому тогда не было еще пятидесяти літь, что физически онъ и въ самомъ деле былъ препокъ и силенъ, что жизнь его сложилась такъ благопріятно, какъ только онъ могъ того желать, т.-е. иными словами, что всв ужасы, испытанные Толстымъ, были безпричинны (въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова), то нѣтъ никакого сомнѣнія, что психіатръ ни минуты не колебался бы въ діагнозъ и предложиль бы свои услуги и свой опыть для льченія. Но если мы и готовы согласиться съ діагнозомъ психіатра, то всетаки мы не можемъ не радоваться, что при второмъ, какъ и при первомъ кризист Толстой никому не ввтрилъ своей судьбы и самъ сталь льчить себя.

Гейне передаеть, что у негровъ существуеть повърье, что заболъвшій девъ старается поймать обезьяну и разорвать ее и такимъ способомъ излъчивается. Толстой обыкновенно тоже такъ льчится. Въ первое же свое заболъвание онъ съ бъщенствомъ набросился на обезьянъ. Онъ разрывалъ на части и Наполеона, и военную науку, и педагогику-и, какъ мы знаемъ, надолго оправился отъ своей бользни. Во второй разъ повторилось то же. Онъ сталъ искать обезьянъ и, конечно, нашелъ ихъ въ достаточномъ количествъ: современная дъйствительность, върнъе, дъйствительность вообще представляеть въ этомъ отношения развъ только embarras des richesses. Онъ напалъ на культурное общество, прогрессъ, медицину, церковь и съ неутомимостью и силой человека, только что взглянувшаго въ лицо смерти, наносиль удары направо и налвво, никому и ничему не давая пощады: прочтите не только «Исповедь», прочтите «Перепись въ Москев», «Въ чемъ мон въра», «Такъ что же намъ дълать?» Какъ и въ первый разъ Толстой помиловаль только Каратаева—смиренный, многострадальный русскій народъ. Но и то ненадолго. Постепенно угасала въ немъ и вера въ народъ, уступивъ мъсто въръ въ Бога-добро, о которой у насъ и будетъ сейчасъ рѣчь.

Пова установимъ тотъ фактъ, что съ Толстымъ во второй разъ про-

изошло чудесное превращение. Во второй разъ онъ самъ принужденъ былъ разрушить міръ и самъ же создать новый. Настанваю на словѣ принужденъ. Все, что разсказываеть Толстой въ своей «Исповеди» и въ другихъ сочиненіяхъ второго періода, все дышить необыкновенной искренностью, все правдиво. Паскаль сказаль когда-то: Je ne puis approuver que ceux qui cherchent en gémissant. Толстой пришелся бы по вкусу Паскалю. «Я мучительно и долго искаль, не изъ празднаго любопытства, не вяло искаль, но искалъ мучительно и упорно, дни и ночи, искалъ, какъ ищетъ погибающій человать спасенья», читаемъ мы въ «Исповади». Предъ нимъ стояла смерть-и несмотря на то, что она уже второй разъ явилась и что, какъ казалось бы, на этоть разъ Толстой, наученный прежиниъ опытомъ, долженъ быль бы знать, что съ ней возможно бороться и что даже ее побъдить можно, онъ такъ же ужаснулся, какъ и въ первый разъ, словно бы онъ не узналь ея, словно бы ему показалось, что это другая, новая, еще невиданная смерть. Три года проводить онъ въ безумной, отчаянной борьбъ съ ней и снова выходить побъдителемъ. Теперь, какъ въ свое времи Пьеръ, онъ утверждаетъ, что уже больше не боится смерти, что онъ больше не боится ничего въ міръ. Но если снова придеть она, --что будеть съ Толстымъ? Узнаетъ ли онъ ее теперь? Или опять ему покажется, что она является впервые? Въ самонъ ин дълъ онъ спокойно встрътить ее, или снова всколыхнутся въ немъ всё присмирёвшіе ужасы, снова начнется титацическая, нечеловъческая борьба, разрушение и созидание міровъ?--Не знаю, какъ смотрять другіе, не знаю, что думаєть самъ Толстой, но для меня весь смысль изученія великаго земного діла великаго русскаго писателя въ этомъ вопросъ. И мив кажется, что каждый разъ, когда Толстой соприкасается съ матерью смертью, въ немъ рождаются новыя творческія силы. Оттого, въроятно, меня преимущественно влечеть къ себъ Толстой измученный, растерянный, испуганный, изнемогающій, и я болье равнодушень къ Толстому торжествующему, къ Толстому побъдителю, Толстому учителю. Когда я въ сотый разъ читаю «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерову сонату», «Три смерти»-у меня духъ захватываетъ. Я чувствую, говоря словами Лютера, что Богъ взяль въ руки свой страшный молотъ-законъ. но я также чувствую, что страшный молоть-въ рукахъ Бога.

Сдълаю одно указаніе, которое, на мой взглядъ, здъсь будеть особенно умъстнымъ. Я уже говорилъ, что душевное состояніе, описанное Лютеромъ, свойственно не одному ему. Оно является не только у пропитаннаго средневъковыми догмами монаха, но у каждаго человъка, который пытался выходить за ограду обыденной, устроенной жизни. Не догмы, не воспринятое ученіе подсказали Лютеру его замъчательныя слова. Правъбыль Джемсъ: Лютеръ вынесъ ихъ изъ собственнаго опыта. То же вынесъ и Толстой, но что еще любопытнъе и замъчательнъе, то же вынесъ и Ницше и выразиль это съ не меньшей страстью и павосомъ, чъмъ Лютеръ. Я уже однажды приводиль это мъсто изъ Ницше, но считаю возможнымъ и нужнымъ вновь привести его, для того, чтобы пролить хоть

межного свъта въ ту кромъшную тьму, которан волею боговъ или нашеми стараніями стустилась какъ разъ тамъ, гдё решаются человеческія судьбы. «Школа страданія, великаго страданія, -- говорить Ницше, -- внаете ли вы, что только въ этой школъ совершенствовался до сихъ поръ человъкъ? То напряженіе души въ біді, которое даеть ей силы, ея ужась при мысли о неизбъжной гибели, ея смълость и находчивость въ испусствъ выносить, претериввать, истолковывать, утилизировать несчастье-все, что когдалибо было ей дано глубоваго, таинственнаго, хитраго, великаго, -- развъ все это она получила не отъ страданія, великаго страданія? Въ человъкъ соединены твореніе и творець; въ человъкъ есть матерія, обломки, глина, грязь, безсмыслица, хаосъ; но въ человъкъ же есть также творецъ, художникъ, твердость молота, божественный созерцатель, счастье седьмого дня: понимаете ин вы эту противоположность? И понимаете ин вы, что ваше состраданіе направлено на «твореніе въ человъкъ», на то, что должно быть сформировано, разбито, выковано, разорвано, переплавлено, очищено, на то, чему по необходимости следуеть, должно страдать? А наше состраданіе-вы понимаете, къ чему относится наше обратное состраданіе, когда оно возстаеть противъ вашего, какъ противъ худшаго изъ всёхъ видовъ изнъженности и слабости? Развъ эти слова продиктованы Ницше не тъмъ же чувствомъ, которое заставило говорить Лютера? Развъ вы не видите и не слышите здёсь страшныхъ ударовъ молота Божьяго? И развё не о томъ же разсказываеть намъ Толстой въ «Смерти Ивана Ильича?» И при томъ Лютеръ, Ницше и Толстой не сговаривались. О каждомъ изъ нихъ можно сказать, что они вынесли свое «знаніе» изъ личнаго опыта. Толстой не признаеть Лютера: Лютеръ говорить о спасеніи върой, а современное знаніе и весь человіческій разумъ никакъ не могуть принять такое ученье. Толстой не признаеть и Ницше: «мальчишеское оригинальничанье полубезумнаго Ницше, -- пишеть онъ въ одномъ изъ самыхъ последнихъ своихъ произведеній *), — не представляющее даже ничего цельнаго и связнаго, какіс-то наброски безсвязныхъ, ничъмъ не обоснованныхъ мыслей», или «безсвизныя, самымъ пошлымъ образомъ бьющія на эффекть писанія одержимаго маніей величія бойкаго, но ограниченнаго нъмца». Этотъ отзывъ Толстого о Ницше, также какъ и его критика ученія о благодати **) страннымъ образомъ противоръчатъ и духу и буквъ его собствен-

^{*) &}quot;Что такое религія и въ чемъ ея сущность?"

^{**)} Приведу отрывокъ изъ книги "Въ чемъ моя вёра", чтобъ читатель имёль предъ главами образецъ отношенія Толстого къ чужимъ вёрованіямъ: "еще съ большей торжественностью и увёренностью утверждается то, что послё Христа вёрою въ него человёкъ освобождается отъ грёха, т.-е. что человёку послё Христа не нужно уже разумомъ освёщать сною жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно вёрить только, что Христосъ искупилъ его отъ грёха, и тогда онъ безгрёшень, т.-е. совершенно хорошь. По этому ученю люди должны воображать, что въ нихъ разумъ безсиленъ и что потому-то они и безгрёшны, т.-е. не могуть ошибаться". Какъ вёрно хогически это гефисто аф абхигфии ученя о благодати и вмёстё съ тёмъ, какъ ненужно оно и какъ мало оно имёсть отношенія къ тому, что происходило съ Лютеромъ...

наго ученія. «Утвержденіе, что ты во лжи, а я въ истинъ, есть самов жестокое слово, которое можеть сказать одинъ человъкъ другому» иншетъ онъ въ «Исповъди». Въ другомъ мъстъ («Въ чемъ моя въра?») онъ еще подробнъе распространяется на эту тему по поводу Мате. V, 22 «кто же скажетъ своему брату «рака»—подлежитъ синедріону, а кто скажетъ «безумный» подлежитъ гееннъ огненной». Рака значитъ «ничтожный». Посмотрите отзывъ Толстого о Ницше: въ немъ, какъ будто нарочно для того, чтобы нарушитъ любимую заповъдъ Толстого во всемъ ея объемъ, употреблены оба слова—и «ничтожный» и «безумный». Но, какъ только дъло касается ученія, Толстой первый подаетъ примъръ неисполненія собственныхъ правилъ, словно затъмъ, чтобы предостеречь и спасти отъ соблазна покорности своихъ учениковъ и послъдователей. Не въ моемъ ученіи, не въ моихъ правилахъ и заповъдяхъ дъло, говорить онъ всёми своими поступками и всёми своими книгами. Если хотите быть со иной, рестретите моимъ ученіемъ.

YI.

Я указаль на то обстоятельство, что второй вризись Толет в во февхы отношеніяхъ является повтореніемъ перваго. Та же причина—ужа смерти, то же душевное состояніе-отчанніе, то же средство лъченія-рываніе обезьянь и, наконець, то же спасеніе—въра въ Бога. Воть какъ опесываеть свое второе спасеніе: «Я оглянулся на самого себя, на те, что происходило во мив, и и вспомниль всв эти сотии разъ происходившія во мить умиранія и оживленія. Я вспомниль, что я жиль только тогда, когда върниъ въ Бога. Какъ было прежде, такъ и теперь: стоить мив знать о Богь, и я живу; стоить забыть, не върить въ него-и я умираю. Что же такое эти оживненія и умиранія? В'єдь я не живу, когда теряю въру въ существование Бога, въдь и бы уже давно убилъ себи, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Въдь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Такъ чего же я ищу еще?воскликнуль во мив голось. - Такъ воть онъ. Онъ есть то, безъ чего жеть нельзя. Знать Бога и жить-одно и то же. Богь есть жизнь. Живи, отыскивая Бога, и тогда не будеть жизни безъ Бога. И сильнее, чемъ когданибудь, все освътняюсь вокругь меня и свъть этоть уже не покидаль меня. И я спасся отъ самоубійства. Когда и какъ совершился во мнъ этоть перевороть, я не могь бы сказать. Какъ незамътно, постепенно уничтожалась во мит сила жизни, и я пришель из невозможности жить, къ остановив жизни, къ потребности самоубійства, такъ же постепенно, незамътно возврателась ко миъ эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мев, была не новая, а самая старая-та самая, которая влекла меня на первыхъ порахъ моей жизни... Только та и была разница, что тогда это все было принято безсознательно, а теперьсознательно».

«Въра, - дълаетъ отсюда выводъ Толстой, - есть знаніе смысла жизни, всявдствіе котораго человъкь не уничтожаєть себя, а живеть. Въра есть сила жизни». Я намъренно подробно остановился здъсь на описании второго кризиса Толстого, подобно тому, какъ раньше столь же подробно остановился на первомъ кризисъ. И теперь снова спрашиваю: чъмъ отличаются они другь отъ друга? И смъло, положа руку на сердце, отвъчаю: до сихъ поръ ничамъ. Даже опредаление, върнъе, чувство Бога вылилось въ тахъ же словахъ: Богъ есть жизнь. Пьеръ говорилъ буквально то же. Но теперь Толстой не признаетъ Пьера, какъ не признаетъ своей же «Войны и мира» и своей «Анны Карениной», ему нужно напасть на самого себя, какимъ онъ быль въ теченіе всей своей сознательной и д'ятельной жизни. Плутархъ, описывая последніе годы Цезаря, замечаеть, что Цезарь словно завидовалъ своей прежней славъ и хотълъ новыми подвигами затмить старые. Новый Богь Толстого тоже не выносить его стараго Бога, какъ новая дъятельность его не выносить прежней. Жажда разрушенія переходить въ жажду саморазрушенія. Или, быть можеть, наобороть? Можеть быть, началомъ всему была жажда саморазрушенія? Весьма въроятно. Не даромъ Достоевскій утверждаеть, что инстинкть разрушенія въ человъкъ по крайней мере такъ же силенъ, какъ и инстинктъ созиданія: Достоевскій знасть эти дела. Но даже и спокойный, ясный Пушкинь имель такого рода предчувствія: все, все, что гибелью грозить, для сердца смертнаго тантъ неизъяснимы наслажденья. Во всемъ, что дълаетъ и говоритъ Толстой, нельзя не замътить радости разрушенія. И это не только потому, что обыкновенно человѣкъ пишетъ или разсказываеть о происходившихъ въ немъ душевныхъ буряхъ и опустошенияхъ лишь послъ того, когда они ушли уже въ область прошлаго и не грозять больше ничъмъ. Такой моментъ тоже наблюдается въ творчествъ Толстого-но онъ всего не объясняеть. Чувствуется, что опасность сама по себѣ влечеть его, хотя онъ безумно боится ея. Такъ птица со страхомъ и ужасомъ бросается въ пасть змъи-какая таниственная сила заставляеть идти ее на върную и страшную смерть?

Міръ погибъ, все погибло, я самъ погибъ, нётъ Бога, некому молиться, некого просить—изъ этого рождается новый міръ, вёра въ себя, въ Бога, молитвы и упованія. Въ оба кризиса Толстой испыталь одно и то же. И вотъ послё второго кризиса, какъ и послё перваго, Толстой начинаетъ осуществлять свою вёру въ жизни, въ дёлахъ, какъ онъ говоритъ. Частной жизни его, хотя о ней много писали и иншутъ, мы не знаемъ, да частная жизнь хотя бы и ведикаго человёка не подлежить обсужденію, пока онъ еще съ нами. Но литературная его дёятельность дастъ достаточно матеріала для выясненія того, что можетъ быть выяснено человёческими силами. Вслёдъ за первымъ кризисомъ Толстой далъ намъ «Войну и миръ» и «Анну Карелину», вслёдъ за вторымъ цёлый рядъ религіозно-философскихъ трактатовъ и немало художественныхъ произведеній, признанныхъ всёмъ міромъ пердами литературы. Первыми произведеніями были «Въ чемъ

моя въра» и «Исповедь», какъ предисловіе въ «Критике догматическаго богословія». Въ «Исповъди», кромъ описанія произошедшаго съ Толстымъ переворота, есть еще указанія на причины, въ силу которыхъ онъ не могъ принять христіанства ни въ одной изъ существующихъ историческихъ формъ, иными словами-причины его разрыва съ церковью. Для накоторыхъ это представляеть тоже немалый, даже, пожалуй, исключительный интересь, но насъ это, въ виду поставленной нами себъ цъли, не занимаетъ. Толстой напаль на церковь съ тою же яростью, съ какой онъ въ свое время напададъ на Наполеона, но мы знаемъ уже, что это значитъ: девъ заболъль и сталь лъчиться по своему особенному способу. «Критика догматическаго богословія», страшно обидная для истинныхъ чадъ царкви, часто поражаеть свеей ненужностью, даже и тогда, когда формально она вполнъ убъдительна. Мы уже приводили мимоходомъ образецъ отношения Толстого къ ученію о спасенів върой. Какъ догма, оно, конечно, не выдерживаетъ натиска раціонализма и въ томъ толкованіи, которое ему дають ходячіе катехизисы, до такой степени слабо, что на него не стоить нападать съ такой энергіей. То же можно сказать по поводу многихъ страницъ «Критики догматического богословія». Когда Вольтеръ чуть ли не двъсти лъть тому назадъ высививалъ церковную догматику-это имбло свой смыслъ. ибо было для многихъ новостью. Въ наше же время повторять Вольтеровскіе опыты совершенно безцільно, и нужно удивляться, какъ хватило у Толстого терпънья и охоты такъ подробно, слово за словомъ разбирать двухтомное сочинение московскаго митрополита Манарія. Достаточно было сказать насколько словь о томъ, каковы условія, поставляемыя Толстымъ для признанія того или иного положенія истиннымъ, для того чтобы всякому стало очевиднымъ, что ни одно изъ положеній «православно погматическаго богословія» Толстымъ и всеми, признающими общелогическія требованія Толстого, принято быть не можеть. И не было необходимости отдъльно разбивать догмать о Троицъ, порознь высмъивать всъ церковныя таинства и т. д. Еще имъда смыслъ борьба Толстого съ церковью по вопросамъ этическимъ, т.-е. о томъ, какъ понимать правственное учение Христа, т.-е. можно ли христіанину идти на войну, казнить людей, принимать присягу, разводиться съ женой и т. д. Все это вопросы въ самомъ пълъ спорные и, главное, допускающіе обсужденіе. Вопросы же догматическіе, какъ самъ Толстой не разъ говорить, принимаются на въру либо людьми, совершенно невъжественными, либо такими, которые изъ корыстныхъ побужденій исповедують догматы, имъ самимъ ничего не говорящіе. Въ обонхъ случаяхъ споръ излишенъ и неумъстенъ. Tertium же, по словамъ Толстого, non datur. Поэтому-то «критика погматическаго богословія», какъ таковая, для насъ интереса не представляетъ.

Но тъмъ болье занимаеть насъ то «новое» толкование Евангелия, которое предлагаеть намъ Толстой. Оно находится въ связи съ его новой религией или, точнъе, свою новую религию Толстой пытается построить, по его словамъ, на Евангелии и только на Евангелии.

Толстой утверждаеть, что онь отнюдь не толкуеть Евангелія. Книга «Въ чемъ моя въра?» съ того и начинается. «Я не толковать хочу ученіе Христа, а только одного хотель бы: запретить толковать его». Что, однако, означають эти слова? Толстой говорить «толковать ученіе Христа». Значить это «толковать Евангеліе»? Если нёть, то откуда же знать ученіе Христа? Кромъ Евангелія источниковъ нътъ. Правда, церковь признаетъ еще преданів, но Толстой, конечно, не изъ преданія, которое онъ высививаеть, узналь ученіе Христа. Значить, не толковать ученіе Христа все равно, что не толковать Евангеліе. Толстой, однако, съ этимъ ни за чтоне согласниси бы ни теперь, когда онъ въ религіи видить синтезъ всёхъ существовавшихъ религій, ни раньше, когда онъ единственную истинную религію видаль въ ученін Христа. Черезъ страницу послё того, какъ онъ торжественно объявиль, что не хочеть толковать ученія Христа и мечтаеть только о томъ, чтобы совершенно запретили бы всякія толкованія, онъ приступаетъ въ толкованію Евангелія и этимъ толкованіемъ занимаєтся на пространствъ всей иниги «Въ чемъ моя въра» *). Да оно иначе и не могло быть у Толстого: «я готовъ быль, --говорить онъ, --теперь принять всякую въру, только бы она не требовала прямого отряцанія разума, которое было бы ложью». Разъ условіемъ въры является разумъ--очевидно ив одно ученіе не можеть быть принято безъ критики; также очевидно, какъ мы сейчасъ убъднися, что ученіе Христа даже въ той части и въ томъ понимания, которое допускаеть Толстой, никониъ образомъ не можеть быть принято разумомъ. И Толстой, когда хочеть, знаеть это: ...я бы сказаль неправду, если бы сказаль, что я разумомъ пришель къ тому, къ чему я пришелъ... Разумъ работалъ, но работало и еще что-то другое, чего я не могу назвать иначе, какъ сознаніемъ жизни». А туть еще возникаетъ вопросъ: точно ли разунъ всегда исполняетъ свои функціи объективнаго изследованія даже въ техъ случанхъ, когда онъ торжественно провозглащаеть своей единственной цёлью истину. Самъ Толстой на этотъ счеть сообщаеть намъ чрезвычайно любопытныя вещи: «Истина всегда была истина, но я не признаваль ея, потому что, признавъ, что дваждыдва четыре, я уже долженъ быль признать то, что я не хорошъ. А чувствовать себя хорошимъ для меня было важные и обязательные, чымъ дважды два есть четыре». Это ретроспективное признание-поразительно, что всё такого рода признанія у Толстого ретроспективны, т. е. даются тогда, когда они уже къ настоящему не относятся и имфють силу лишь по отношению въ прошлому-невольно наводить насъ на мысль: да какъ же повъряться разуму, даже толстовскому или, если угодно, именно толстовскому, разъ онъ склоненъ на такіе компромиссы? Правда, Толстой утверждаеть, что это у него было только прежде, до пятидесяти лъть, а теперь этого уже изть. Но вздь прежде онъ въ себв не заизчаль такой

^{*)} Я уже не говорю о "Соединенін, переводѣ и толкованіи 4 Евангелій", въ которомъ Толстой пускается въ самые тонкіе вопросы экзегетики и даже въ филологическія изыскавія о значеніи греческихъ словъ.

особенности. А что, если она и теперь сохранилась, притаившись въ какойнибудь едва замѣтной складкѣ души, что, если и теперь быть хорошимъ
важнѣе и обязательнѣе, чѣмъ дважды-два четыре? Можно и нужно такому
разуму ввѣрять судьбу важнѣйшаго человѣческаго дѣла?! Тѣмъ болѣе, что,
какъ мы только что слышали, по собственному признанію Толстого, не
разумъ спасъ его отъ отчаянія въ самыя ужасныя минуты его жизни.
Работала въ немъ какая-то чудесная, такиственная сила, которую онъ
почему-то (я говорю «почему-то», но на самомъ дѣлѣ не почему-то, а
потому, что того требоваль разумъ) называетъ ничего не говорящими словами «сила жизни». Но, такъ или иначе, Толстой приступаетъ къ толкованію и критикѣ Евангелія, къ исканію религіи (не Бога, религіи—не
слѣдуетъ смѣшивать эти два понятія) подъ верховнымѣ руководствомъ
разума. Послѣдуемъ за нимъ и посмотримъ, что изъ этого вышло.

VII.

Какъ всегда, у Толстого выдержки и последовательности мало. дълаеть его философско-богословскія изследованія столь важными и значительными. Даже «Критика догматического богословія» — въ концъ-к наовія книга замъчательная, ибо, помимо вольтеровскаго, разумнаго, общечело въческаго въ ней есть много собственно-толстовскаго, т.-е. презираниято разумъ. Какое-то чувство или инстинктъ подсказалъ Толстому, что в Евангеліе есть дъйствительно слово Божіе, то сущность его нужно искать въ наиболъе непонятныхъ и загадочныхъ словахъ Христа, т.-е. именно въ тъхъ, съ которыми разумъ никакъ сладить не можетъ, которыя разумъ отрицаетъ всемъ своимъ существомъ. «Въ чемъ моя вера» и начинаеть поэтому съ нагорной проповёди. Толстой принимаеть ее-вопреки традиціоннымъ истолкованіямъ, стремящимся приспособить ее къ условіямъ нашей обыденной жизни и къ привычнамъ разума-цъликомъ, безъ всякихъ измѣненій и дополненій, въ буквальномъ смыслѣ ея и въ самомъ дълъ опредъденныхъ и не допускающихъ различнаго пониманія словъ. Что никто до него не понималь такъ нагорной проповъди, что историческое христіанство понимало ее такимъ образомъ, какъ будто бы въ ней было сказано прямо противоположное тому, что сказано на самомъ дълъ-съ этимъ Толстой не считается. Если до сихъ поръ истинный міръ былъ для вськъ запрыть-развъ изъ этого следуеть, что онъ и на будущее время, навсегда долженъ остаться закрытымъ? «Долго я не могъ привыкнуть къ этой странной мысли, что послѣ 1800 лѣть исповѣданія Христова закона милліардами людей, послів тысячь людей, посвятившихъ свою жизнь изученію этого закона, теперь мив пришлось какъ что-то новое открыть законъ Христа. Но накъ это ни странно, это было такъ»... «Я остался опять одинъ со своимъ сердцемъ и съ таинственною инигой предъ собой». И воть сердце Толстого выбираеть изъ таинственной книги самыя таинственныя и загадочныя слова: «вы слышали, что сказано древнимъ: око книга г, 1909 г.

за око, зубъ за зубъ. А Я вамъ говорю: не противьтесь злому». Несомивню, трудно придумать другія слова, которыя находились бы въ болве явномъ и ръзкомъ противоръчіи съ нашимъ разумомъ и повседневнымъ опытомъ каждаго человъна. Я знаю, что были люди, которые върили въ эти слова, но я не знаю людей, которые бы ихъ понимали. Здёсь именно какъ разъ тотъ случай, когда можно и должно повторить Тертуліана: credo, quia absurdum. Вся очевидность, весь опыть современнаго и исторического человъчества возстаеть противъ завъта непротивленія злу, и полную практическую неприменимость его одинаково хорошо умееть докавать и пятнадцатильтній семинаристь и Іоаннъ Златоусть. И съ техъ поръ, какъ емопейскій міръ офиціально призналь Евангеліе Божественной книгою, семи писты и Іоанны Златоусты непрерывно и превосходно опровергали эту заповъдь, --ссылаясь, однако, не на откровеніе, а на свой обыкновенный, человвческій разумъ. Какъ извъстно, каждый разъ, когда истина откровенія становится невыносимо трудной для человіка, онъ начинаетъ противопоставлять ей и ограничивать ее разумомъ, хотя очень охотно пренебрегаеть разумомъ, если божественная мудрость ни къ чему не обязываеть. Но Толстой предприняль задачу поистинъ неслыханную. Последовательно держась (Толстой бываеть и последовательнымъ) возвещенной имъ невозможности отрицанія разума, онъ вступаеть въ полемяку съ Іоанномъ Златоустомъ и всеми церковными богословами, доказываеть, что разумъ можеть и умъеть объяснить слова Христа о непротивленія злу. И здісь послідовательность Толстого не случайна: онъ въ самомъ дълъ не можетъ отказаться отъ разума. Но онъ не можеть откаваться и отъ этих словъ Христа, т.-е. отъ нагорной проповеди. «Еще съ дътства, - разсказываеть онъ, - съ тъхъ поръ какъ я сталъ для себя чктать Евангеліе, во всемъ Евангелія меня трогало и умиляло больше всего то ученіе Христа, въ йоторомъ пропов'єдуется любовь, смиреніе, уняженіе, самоотверженіе и возмездіе добромъ за зло. Такова и осталась для меня сущность христіанства, то, что я сердцемъ любилъ въ немъ, то, во жимя чего я, послъ отчаянія, призналь истиннымъ тоть смысль, который придаетъ жизни христіанскій трудовой народъ». Сердцемъ, действительно, можно признать эту часть евангельского ученія, можно даже радоваться ея таинственности и загадочной непостижимости, -- но какъ заставить разумъ санкціонировать влеченіе сердца? И, потомъ, что собственно должна дать въ этомъ случат, по мнтнію Толстого, саняція разума? Зачтыть она? Почему не обойтись безъ нея? Повторяю и подчервиваю: я считаю толстовское толкованіе пагорной пропов'єди безусловно правильнымъ. Даже больше, я считаю, что по поводу нагорной проповеди (но отнюдь не по поводу всего Евангелія) Толстой почти выдержаль поставленный себъ искусъ: брать слова Христа такими, какими они дошли до насъ, не разръшая себъ произвольно ни расширять, ни суживать ихъ значение, и потому онъ вполнъ правъ, когда, полемизируя съ установившимися расширительными и ограничительными толкованіями евангельскихъ текстовъ.

онъ каждый разъ повторяеть, что Христосъ говорить то, что Онъ говорить и, что если бы Онъ хотель сказать то, что говорять представители разныхъ церквей, то Онъ умълъ бы сказать ихъ словами. Но когда, всябдъ за темъ, онъ пытается доказать, что онъ понимаетъ и можетъ объяснить слова Христа, иначе говоря, что исполнение завътовъ Христа привело бы къ земному счастью не только всёхъ или большинство людей, но и отдъльнаго человъна (такой смыслъ имъетъ у Толстого «санкція разума»), то поневоль задумаешься. Зачыть такъ очевидно для всых насиловать истину? И почему человъкъ столь колоссальнаго ума не хочетъ видеть и внать того, что знаеть не только Іоаннъ Златоусть или полемизировавшій съ Толстымъ Вл. Соловьевъ, но что знасть каждый школьникъ? Межъ тъмъ Толстой не знаеть, не хочеть знать. Онъ высибиваеть, очень удачно, офиціальныхъ представителей христіанства въ своемъ разсназъ о молодомъ гренадеръ, прогонявшемъ нищаго, и на вопросъ Толстого, читаль ли онъ Евангеліе, побъдоносно отвътившаго: «а ты воинскій уставъ читаль»? Не менте удачно подбираеть онь выдержки изъ катехизиса въ доказательство того, что необходимость согласовать Евангеліе съ требованіями государства ведеть если не въ отврытому, какъ у молодого гренадера, то къ тайному подчинению Евангелия воинскому уставу. Но все это въдь въ концъ-концовъ имъетъ второстепенное значеніе. Люди, называющіеся христіанами, исказили изъ корыстныхъ побужденій ученіе Христа-кто этого не знаеть? Существенный вопрось въ томъ, выдерживаеть ди это учение разумную критику и если не выдерживаеть (въ чемъ сомнъваться нельзя), то чъмъ пожертвовать: ученіемъ или разумомъ? Воть тоть страшный и мучительный вопрось, который не разъ уже становился предъ людьми. Бывали смёльчаки, которые рёшительно становились на сторону ученія, не отступая даже предъ необходимостью заявить: credo quia absurdum. Но Толстой не могъ пойти за ними. Онъ въ этомъ отношеніи остался върнымъ сыномъ своего времени, такъ упорно (я говорю о последнемъ пятидесятилетін) стремящемся примирить веру съ разумомъ. Странно это, но это такъ. Толстой, который, кажется, такъ ненавидить все современное, въ наиболье существенномъ и важномъ пунктъ раздъляеть наиболъе распространенный и, повидимому, наиболъе дожный и мучительный предразсудокъ нашей эпохи. Въ одномъ изъ своихъ последнихъ произведеній («Что такое религія и въ чемъ ся сущность», 1902 года) онъ прямо такъ и опредбляеть религію: «религія есть установленное, согласное съ разумомъ и съ современными знаніями отношеніе человіка къ вічной жизни, къ Богу». Читаешь и не віришь себъ, что Толстой могъ написать это, -Толстой, всю жизнь свою боровшійся съ современной наукой и высмъивавшій ся притязанія. Да и въ самомъ деле, какая цена можетъ быть религія, если она определяется соеременными знаніями, т.-е. предразсудками и суевъріями нашей эпохи. Самъ Толстой со свойственной ему широтой и проникновенностью взгляда говорить, что «черезъ насколько ваковъ исторія такъ называемой научной дъятельности нашихъ прославляемыхъ послъднихъ въковъ европейскаго человъчества будетъ составлять неистощимый предметъ смъха и жалости будущихъ покольній». И такой наукь давать рышающее слово, когда дъло касается религія?! И потомъ-о какихъ современныхъ знаніяхъ говорить Толстой? О рентгеновскихъ лучахъ, микробахъ колеры или чахотки, о свойствахъ радія? Очевидно-нать, все это прямого отношенія къ религіи не имбеть. Очевидно, онъ говорить объ основныхъ принципахъ, о предпосылкахъ современной науки-о естественномъ развитіи, о законъ причинности и т. д. Съ этими-то принципами мы, современные люди, должны считаться, когда ищемъ въры и Бога, хотя знаемъ, что черезъ нъсколько въковъ они будутъ предметомъ смъха и жалости для нашихъ потомковъ. Безъ Спенсера, Дарвина, Канта, Конта, какъ моряки безъ компаса, мы не можемъ пускаться въ дальній путь?! Толстой рекомендуетъ для чтенія статью Карпентера «Современная наука» и даже написаль нь ней предисловіе. Собственно Карпентеръ не представляєть самобытныхъ возраженій противъ современныхъ научныхъ теорій. Можно указать другихъ ученыхъ и философовъ, которые были еще строже и безпощаднъе, чъмъ Карпентеръ. Вся новъйшая гносеологія, въ сущности, сводится къ подрыванію основъ научнаго знанія. Посмотряте во что выродилось кантіанство подъ руками философовъ марбургской школы или Виндельбандо-Ривкертовскаго направленія. Или возьмите хотя бы прогремъвшій въ последнее время прагматизмъ, считающій Милля своимъ ближайшимъ родоначальникомъ. Ни прагматизмъ, ни современный идеализмъ не признаютъ даже и возможности знанія. То, что оба эти столь враждующія между собой теченія называють знаніемъ, есть лишь нікая система сужденій à priori, та нъкоторая воображаемая въщалка, на которой размъщаются безпорядочныя впечатавнія индивидуумовъ. Споръ между прагматистами и идеалистами идетъ лишь о природъ въщалки. Первые утверждають, что въщалка, какъ и все въ мірѣ, существуеть не отъ сотворенія міра, а лишь очень давно и сдёлана она самимъ человекомъ для его пользы, ибо все только для пользы и делается, вторые, не отрицая того, что вешалка есть въшалка, т.-е. не знаніе, а суррогать знанія, настанвають на томъ, что хотя она и сделана для некоторой цели, но отнюдь не для низко утвлитарной, а для возвышенной. Но всё теоріи познанія, т.-е. всё теоріи, ставящія и разрѣшающія вопросъ о сущности, нашего знанія, единогласно утверждають, что никакого у насъ знанія нъть и быть не можеть. И, что бёды въ этомъ нёть никакой, ибо, въ сущности, намъ знаніе не нужно. Такой глубины скептицизма и такого недовірія къ науків не испытала, кажется, ни одна изъ извъстныхъ намъ историческихъ эпохъ. Принладныя науки процебтають—въ области же общихъ принциповъ вы не найдете ни одной объединяющей встхъ изследователей идеи. По признанію одного изъ авторитетныхъ нёмецкихъ гносеологовъ (Husserl'a), въ области логики и теорій познанія сейчась происходить bellum omnium contra omnes. Мити Карпентера, что современная наука представляеть

собой случайный и безпорядочный наборъ влочковъ и обрывковъ приблизительныхъ знаній—есть только выводъ изъ общихъ положеній современной гносеологіи. И вотъ Толстой, давшій предисловіє въ переводу статьи Карпентера и какъ будто радующійся тому, что Карпентеръ такъ остроумно разбиваеть господствующее среди «образованной толпы» митніе о великихъ побъдахъ науки, этотъ же Толстой самъ настолько въритъ въ науку и именно въ современную науку, что даетъ ей право неограниченнаго контроля надъ всякаго рода исканіями. И онъ, какъ Контъ, въ концъ-концовъ думаетъ, что теологическій и метафизическій періоды мышленія уже миновали и наступиль періодъ положительный—хорошаго, върнаго мышленія. А въдь какъ остроумно и тонко онъ самъ выситиваль этотъ мнимый контовскій законъ!

VIII.

Въра въ естественное развитие и ваконъ Конта есть смертный гръхъ нашей современности. Это-то заблуждение, о которомъ говорить въ приведенныхъ выше словахъ Лютеръ: оно стоить и будеть всегда стоить на пути человъческаго спасенія. Не только наше время, всякое время считаетъ уровень своего знанія очень высокимъ и стремится своими знаніями, т.-е. своей ограниченностью, опредълить свое отношение къ безконечному. Толстой даль правильное определение того, что принято въ образованныхъ кругахъ называть религіей, но эта ученая религія и есть глубочайшее невъріе. Я, конечно, менъе всего склоненъ брать на себя защиту какихъ бы то ни были религіозныхъ или философскихъ догмъ, тъхъ ли, которыя разрываеть своей критикой Толстой, или даже тёхъ, которыя, какъ у Лютера его ученіе о спасенін върой, возникають изъ непосредственныхъ переживаній и потому запечатліны свіжестью, глубиной и силой чувства. Монашеская власяница, шлемъ, забрало и латы средневъковья красивъе и поэтичнъе современной шелковой рясы или чернаго профессорскаго сюртука, но всв эти красивые и некрасивые наряды-только вившность и форма, и хотя отчасти они и открывають кроющуюся подъ ними жизнь, исканія и борьбу, но еще больше скрывають ихъ. Догмы же, оторванныя отъ внутреннихъ цереживаній, увядають и высыхають, какъ опавшіе съ дерева листья и потому въ глазахъ нашихъ могуть имъть очень ограниченную ценность. Но равнодушіе въ догмамъ далеко не означаетъ равнодушія къ величайшимъ человьческимъ бореніямъ и исканіямъ. Скоръй наоборотъ, догмы ценить тотъ, кто равнодушенъ къ человъческому и божескому творчеству. Ему хочется знать, твердо знать, что где-то кемъ-то уже все сделано и что потому можно спокойно верить, т.-е. пережевывать жвачку. И вотъ, когда Толстой, весь охваченный трепетомъ ужаса и радости, идеть въсвоей «таинственной книгъ» и, вопреки тысячельтнимъ традиціямъ и сложившимся «догмамъ», находить въ ней слова, опрокидывающія весь строй нашей внутренней и вибшней жизни, --

мы поражаемся его силой и величіемъ. Мы начинаемъ думать, что и въ самомъ дълъ на него сошла благодать, что онъ сподобился почувствовать дыханіе Бога, его восторгь сообщается намь, и мы съ затаеннымь дыханіемъ ждемъ. Но, - увы! - человіть, даже величайшій человіть остается человъномъ, какъ и высочайшія земныя вершины Кавказа и Гималаевъ, сравнительно со всемъ земнымъ шаромъ-только небольшія кочки. Надолго вынести видъ Бога, навсегда соединиться съ безконечнымъ не дано смертному. Даже то волнение, которое вызываеть у человъка близость смерти, хотя бы онъ, какъ Толстой, дважды прямо взглянулъ ей въ глаза, не можеть дать силь, нужныхь для того, чтобъ надолго оторваться отъ земли. На мгновеніе челов'єкъ, какъ кузнечикъ, взлетить на высоту-ч воть онь уже снова на своемъ прежнемъ мъсть и либо твердить увядшія и засохшін слова давно умершихъ догиъ, какъ то дёлають противники Толстого, либо повторяеть подсказываемыя ему разумомъ твердыя правида и въчныя истины. Толстой такъ именно и поступаеть съ Евангеліемъ. Онъ ищеть въ этой «таинственной книгь» правиль жизни. Не противься злому, не клянись, не предюбодъйствуй, не покидай женщины, которая была однажды твоей женой, и т. д. Все дёло, говорить онъ намъ, въ томъ, чтобъ извлечь изъ Евангелія указанія о томъ, какъ поступать въ жизни, для того, чтобы жизнь стала не кромъшнымъ адомъ, какъ теперь, а свътнымъ, яснымъ, радостнымъ расмъ. Онъ старается цитатами изъ Евангелія доказать, что Христось именно затемъ пришель на вемлю, чтобы научить людей, какъ имъ лучше устроиться. «Христосъ учить не спасенію върой или аскетизму... но онъ учить жизни такой, при которой, кромъ спасенія отъ погибели личной жизни, еще и здісь, въ этомъ мірі, меньше страданій и больше радостей, чёмъ при жизни личной». И еще: чученіе Христа им'єть и самый простой, ясный, практическій смысль для жизни каждаго отдельнаго человека. Этотъ смыслъ можно выразить такъ: Христосъ училь людей не пълать глупостей. Въ этомъ состоить самый простой, всёмъ доступный смысль ученія Христа». Об'є эти цитаты взяты мной изъ X главы книги «Въ чемъ иоя въра?» Но въ VIII главъ указывается еще на одинъ смыслъ ученія Христа: «въ признаніи этой своей мірской, личной жизни за что-то дъйствительно мнъ принадлежащее и лежить недоразумъніе, препятствующее пониманію ученія Христа». ... «Смерть, смерть и смерть каждую секунду ждеть васъ. Жизнь ваша совершается въ виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя въ будущемъ, то вы сами знаете, что въ будущемъ для васъ одно-смерть. И эта смерть разрушаеть все, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не можеть имъть никакого смысла». Жизнь для себя не можеть нивть смысла, это усмотрель Толстой въ Евангеліи. Но тогда, зачемь же искать радостей, хотя бы не тёхъ, которыя цёнять обыкновенные люди. а болье высокихъ и чистыхъ? Въдь что бы тамъ ни говорили, а радость есть чисто индивидуальное, личное чувство, и, если нужно отречься отъ себя, отъ своей индивидуальности, то гдъ уже туть о радостяхъ думать! Но Толстой радости не уступить, какъ не уступить онъ разума, ибо это, выражаясь его словами, было бы ложью. И въ самомъ дёлё это было бы ложью-для Толстого. После вгорого кризиса, какъ и после перваго, Толстой заговориль о самоотречения, о жертвъ, объ опростънии. Пьеръ въдь тоже, какъ и Толстой, послъ «Исповъди», выучился своей новой истинъ у Платона Каратаева, воплотившаго въ своемъ лицъ страдающій, смиренный и вкрующий русскій народъ. Пьеръ тоже испыталь потребность отреченія и жертвы. Кончиль же компромиссомь: онь умилялся и дивился русскому народу, онъ старался внутренно совершенствоваться, онъ и на самомъ дълъ совершенствовался, - но онъ не отказался отъ сладости жизни и продолжаль, подъ руководительствомъ разума, возможно лучше устранвать свою судьбу. «Ахъ, какъ хорошо! Ахъ, какъ славно!» Не знаю, какъ другіе-что до меня, то я эти слова Пьера слыту и въ религіозно-богословскихъ произведеніяхъ, написанныхъ Толстымъ послѣ второго кризиса. Съ другой стороны онъ упрекаетъ современныхъ христіанъ въ невёрін, ибо, говорить, у нихъ нъть силы, нужной для вёры. Воть эти замъчательныя по глубинъ и силь слова: «они (христіане) могуть молиться Христу-Богу, причащаться, строить церкви, обращать другихъ; они все это и дълаютъ, но не могутъ дълать дълъ Христа, потому что дъла эти вытекають изъ въры, основанной на совстиъ иномъ ученіи, нежели то, которое они признають. Они не могуть принести въ жертву единственнаго сына, какъ это сдълалъ Авраамъ, между тъмъ какъ Авраамъ не могъ, даже задуматься надъ тъмъ, принести или не принести своего сына въ жертву Богу, тому Богу, который одинъ даетъ смыслъ и благо его жизни». Это-страшный вызовъ, брошенный Толстымъ современнымъ върующимъ людямъ и своему собственному «ученію», посколько оно проповъдуеть «разумъ». Кто осмълится принять его? Кто принесеть своего первенца въ жертву? Вспомните вопросъ Достоевскаго о замученномъ ребенкъ. Когда на старости лътъ этотъ вопросъ (въ иной только формъ) пришелъ въ голову Миллю, онъ заявиль, что скоръй готовъ допустить, что Богъ не совствъ всемогущъ, чтмъ что съ его воли и согласія происходять на земять подобные ужасы. Джемсъ говорить еще резче: такого Бога онъ бы ни за что не призналъ Богомъ. И надо прямо сказать: разумъ нашъ никогда не оправдаетъ жертвы Авраама, никогда не отдастъ на закланіе живого ребенка, -- хотя бы и по требованію самого Бога. Если же найдется человъкъ, который въ самомъ дълъ отдастъ на закланіе свое любимое дътище или даже, какъ Авраамъ, самъ занесеть ножъ надъ нимъ, то сомижнія уже быть не можеть: онъ отвергь разумь и действоваль въ порывъ безумія. Таковыми и были всь пророки. Послушайте ихъ, посмотрите на ихъ жизнь. Богъ велель Іезекіндю есть человеческіе отбросыи Іезекіндь послушался, тать. Если бы современный исихіатръ увидаль Іезекіндя, исполняющаго волю Бога, ему бы и въ голову не пришло, что предъ нимъ пророкъ, и онъ безъ колебанія надъль бы на него смирительную рубашку. То же сказали бы (и говорили) врачи, интересовавшіеся душевными состояніями Толстого не послів, а во время кризисовъ, т.-е. не тогда, когда Толстой при помощи разума забываль сомивнія, а тогда, когда сомнънія побъждали разумъ. Въ эти же, именно въ эти періоды-и въ иолодости, и въ старости-Толстой болье всего напоминаетъ истиннаго пророка. Въра съ разумомъ никогда не примирятся. Никогда не примирятся душевный покой и счастье съ жертвой Авраама: тотъ, кто однажды убиль своего сына, можеть быть, будеть великимъ геніемъ, пророкомъ, благодътелемъ человъчества, но счастливымъ, разумнымъ и спокойнымъ человъкомъ онъ уже не будетъ никогда. И, наоборотъ, та непримиримая вражда со счастьемъ и разумомъ, на которую иные люди отдаютъ всю свою жизнь, имфеть большей частью свое начало и источникъ въ великой, нечеловъческой жертвъ. Можетъ быть, нужно, какъ учитъ Лютеръ, увъровать, что для спасенія твоей одинокой, презрънной, гръшной душонки потребовалось совершить преступление изъ преступлений, распять Сына Божьяго, совершеннъйшее существо; можетъ быть, нужно увъровать въ эту нельпость, въ этотъ абсурдъ, чтобы разъ навсегда перестать ценить разумъ съ его истинами и законами и преодолъть тотъ кошмаръ нашей духовной ограниченности, который именуется современнымъ познаніемъ.

IX.

И воть, говорю, въ Толстомъ после второго призиса, какъ и после церваго, въ Толстомъ «Войны и Мира», какъ въ Толстомъ «Исповъди» и «Крейцеровой сонаты» наблюдается органическое соединение двухъ, повидимому, совершенно несоединимыхъ душъ. Съ одной стороны, въ немъ живеть пророкъ, готовый последовать примеру Авраама и даже Ісзекіиля, готовый сродниться съ безуміемъ, вызвать на смертный бой здравый смыслъ и пренебречь всеми радостями жизни. Такимъ онъ бываетъ въ періоды своихъ кризисовъ, до той поры, пока здравый смыслъ не убъдитъ его спуститься въ низовья обыденности, твердаго знанія, правиль и «счастья». Съ другой стороны-онъ судорожно держится за разумъ и учить людей надъяться, что религія есть какъ разь то, что помогаеть намъ устраивать свою жизнь. Послъ «Исповъди», послъ того, какъ онъ увъровалъ уже въ Бога, муки сомитнія и невърія далеко не покинули его. Я не говорю уже о «смерти Ивана Ильича». Можеть быть, въ этомъ разсназъ Толстой изображаеть то, что онъ испыталь до своего второго обращенія (но послъ перваго, что тоже имъеть для насъ большое значеніе). Но Крейцерова соната? Даже для слепого ясно, что она порождена какими-то переживаніями, возникшими совершенно независимо отъ встхъ его религіозныхъ бореній и исканій. Именно въ то время, когда Толстой радостно отдавался своей высокой учительской миссіи, -- открываль людямъ Евангеліе, въ его жизни произошло нъчто неслыханно тяжелое, отвратительное и постыдное. Если бы Толстого въ это время вто-нибудь ударилъ по щекъ, онъ бы ежокойно и легко, даже съ радостью подставиль бы другую. Но туть быль, очевидно, такой ударь (и, можеть быть, не оть чужой, а своей собственной руки), такое ужасное осквернение души, на которое для Толстого, какъ для Позднышева быль возможень одинь отвътъ: кинжаломъ. Подчеркиваю, для Толстого, върующаго въ Евангеліе и непротивленіе злу, не было другого выхода. Объ этомъ говорить каждая строчка, каждое слово «Крейцеровой сонаты»: имъющій уши, да слышить. Но, Толстой не убиль, а смыль оснорбление, написавши новое геніальное произведеніе. Пусть спеціалисты въ дёлахъ чести разрёшають вопросъ, можно и должно ли такимъ способомъ смывать оскорбленія. Мив кажется, что, если существуеть загробная жизнь, такой вопрось будеть поставлень не только по поводу «Крейцеровой сонаты», но также по поводу многихъ другихъ геніальныхъ произведеній. Какъ онъ будеть рішенъ, сказать не берусь, и здъсь мы его касаться не будемъ: въ силу своей всеобъемлемости онъ можеть быть решень только на страшномъ суде, ибо въ нашемъ эмпирическомъ мір'в мы не найдемъ достаточныхъ данныхъ для его осв'вщеній. Я хочу указать лишь на то, что Толстой знаеть, что такое жертва Авраама и каково заносить руку на то, что тебѣ дороже всего на свътъ. И когда онъ въ своихъ сочиненіяхъ разсказываетъ намъ о своихъ жертвахъ, мы уже не можемъ върить его увъреніямъ, что такъ хорошо и такъ славно жить и что Христосъ можеть научить еще лучше и еще пріятиве жить. Мало можно назвать писателей, которые умели бы такъ подрывать въру въ разумъ и возможность счастливаго устроенія на земль, какъ Толстой. Достигаеть онъ этого больше всего несоотвътствіемъ даваемыхъ имъ отвътовъ съ предлагаемыми имъ же самимъ вопросами. Не даромъ опъ два раза видълъ смерть, два раза разрушалъ и два раза созидаль міръ. Кто научился у Толстого спрашивать, вто восприняль, какъ Толстой, казнь преступника, смерть брата, пытку Ивана Ильича, обиду Позднышева, тоть, можеть быть, будеть протестантомъ или католикомъ, позитивистомъ или метафизикомъ, --- но во всякомъ случав, какихъ бы върованій или ученій онъ ни держался, они даже и приблизительно не выразять его действительного отношенія въ міру, Богу и людямъ. Мит кажется, что, можетъ быть, «ученіе» Толстого оттого такъ исно, просто и неубъдительно, что онъ безсознательно чувствуетъ, что все равно не претворишь въ слово всего того, что накопилось въ душь за долгія 80 льть трудной, сложной и огромной жизни. Разуму такая задача не по силамъ: пусть берется за посильныя задачи. Пусть обличаеть, проповъдуеть, вырабатываетъ правила жизни, утъщаеть и учить людей. Ничего, конечно, значительнаго изъ того не выйдеть, но та часть нашего существа, которая покоряется разуму, очень малаго и требуетъ.

Въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ» Толстой разсказываетъ, что Карлъ Иванычъ, узнавши, что Иртеньевъ отказываетъ ему отъ мѣста, вернулся въ классную и продиктовалъ дѣтямъ слѣдующую фразу: Von allen Leidenschaften die grausamste ist die Undankbarkeit. И это его удовлетворило. «Ляцо его не было угрюмо, какъ прежде, оно выражало довольство человъка, достаточно

отистившаго за обиду». Часто, когда и читаю негодующія статьи Толстого но поводу дъйствительно ужасныхъ событій нашей современности, я вспоминаю нъмецкую фразу Карла Ивановича. Ибо толстовское негодованіе, какъ я уже указываль въ началъ статьи, такъ же мало устраняетъ зло и наказываетъ злыхъ, какъ и диктантъ Карла Ивановича. Оно довиветъ себв и развв только даеть довольство человъку, воображающему, что онъ достойно отмстиль ва обиду. Разумъ, когда ему выпадаетъ руководящая и отвътственная роль, всегда приводить нь такинь бъднымъ и обиднымъ результатамъ-и потому. вся задача въ томъ, чтобъ отнять у него разъ навсегда руководительство. Можеть быть, задача покажется по существу противоръчивой и неисполнимой. Въ тайникахъ человъческой души, повидимому, живетъ въчная боязнь, что напболъе глубокіе и священные запросы наши не могуть быть удовлетворены. Иногда даже кажется, что и не должны быть удовлетворены. Ренанъ превосходно выразилъ эту мысль въ следующихъ строкахъ: «Une complète obscurité, providentielle peut-être, nous cache les fins morales de l'univers. Sur cette matière, on parie; on tire à la courte paille; en realité, on ne sait rien. Notre gageure, à nous, notre real acierto à la façon espagnole, c'est que l'inspiration intérieure qui nous fait affirmer le devoir est une sorte d'oracle, une voix infaillible, venant du dehors et correspondant à une réalité objective. Nous mettons notre noblesse en cette affirmation obstinée, nous faisons bien; il faut y tenir même contre l'évidence. Mais il y a presque autant de chances pour que tout le contraire soit vrai. Il se peut que ces voix intérieures proviennent d'illusions honnêtes, entretenues par l'habitude, et que le monde ne soit qu'une amusante féerie dont aucun dieu ne se soucie. Il faut donc nous arranger de manière que, dans les deux hypothèses, nous n'ayons pas eu complètement tort. Il faut écouter les voix supérieures, mais de façon que dans le cas où la seconde hypothèse serait la vraie, nous n'ayons pas été trop dupés. Si le monde, en effet, n'est pas chose serieuse, ce sont les gens dogmatiques qui auront été frivoles, et les gens du monde, ceux que les théologiens traitent d'etourdis, qui auront été les vrais sages». Ренанъ правъ, иногда человъкомъ овладъваетъ мучительная мысль, что его святыня, то, что ему дороже всего на свътъ, -- есть только пошлая вульгарность и что на престолъ нужно возвести именно обыкновенную вульгарность, которую онъ всегда гналъ отъ себя и превираль, но которая одна и представляеть изъ себя неистребимую временемъ, въчную сущность жизни. Кто не зналъ этого искушенія, тотъ, значить, не быль даже еще у порога последней жизненной загадки. Достоевскій назваль бы такого человѣка желторотымъ. Такому еще можно надѣяться на разумъ и искать въ разумъ опоры. Онъ можеть считать наше внание совершеннымъ знаниемъ, онъ можеть въ проповеди находить утъшеніе и удовлетворяться негодующими словами. Онъ можеть и въ сознательномъ, разумномъ ученім Толстого видіть сущность его жизни и діятельности. Въ послесловіи въ «Крейцеровой сонате» онъ можеть найти объяснение этого гениального произведения, въ восилицацияхъ Пьера, «ахъ,

какъ хорошо, ахъ, какъ славно!» и въ соотвътствующихъ мъстахъ богословскихъ и моральныхъ сочиненій Толстого онъ можеть найти откликъ на свои задушевнъйшія мечты и даже признаки въчной, непоколебимой въры. И ему ничего возразить нельзя. Послъднія цъли мірозданія, какъ говорить Ренань, скрыты въ глубокомъ мракв и, быть можеть, по волв Творца. Но если это такъ, если и въ самомъ деле у насъ нетъ и не можеть быть ясныхъ указаній на то, кто владбеть нами и чего оть насъ требують, если нашъ разумъ такъ устроенъ, что онъ равно допускаетъ самыя противоположныя объясненія міровыхъ цёлей и готовъ поочередно возводить на престоль и пошлость и высокую добродътель, --- кто же можеть заставить насъ жить въ мирф съ такимъ разумомъ? Добро бы онъ быль всемогущимъ или, если хоть не всемогущимъ, то очень могущественнымъ, могъ бы справиться съ нашими элементарными нуждами! Можетъ быть, своекорыстное человъчество соблазнилось бы матеріальными выгодами. Но, рано или поздно, наступаеть моменть въ нашей жизни, когда разумъ безсильно пассуеть и не умъеть ничего для насъ сдълать: какъ страшно и какъ чудесно разсказываетъ объ этомъ Толстой! И тогда возникаеть у человъка непреклонное ръшение разъ на всегда порвать съ этимъ жалкимъ и коварнымъ союзникомъ. Что угодно, только не разумное! И тогда, только тогда, когда человъкъ почувствоваль совершенную невозможность жить съ разумомъ, впервые возникаетъ у него въра. Большей частью онъ этого не знаеть, т.-е. онъ не думаетъ, что его измънившееся отношение къ міру заслуживаетъ такого названія, что оно вообще имъетъ какую-нибудь заслугу, чего-нибудь стоитъ! Онъ думаеть, что верой должно называть приверженность человека къ какойнибудь церкви, къ накимъ-нибудь догмамъ, къ этическимъ ученіямъ или, по крайней мфрф, интересъ въ такъ называемымъ последнимъ вопросамъ нашего бытія. А то, что въ немъ-все такъ дико, гнусно, безпорядочно, хаотично, нельно, отвратительно, все подлежить истреблению, уничтоженію. Безподобно разсказаль покойный Чеховь о такихь своихь душевныхъ состояніяхъ въ «Скучной исторіи». Объ этомъ же разсказываеть и Толстой во всехъ своихъ сочиненіяхъ, поскольку они отражають въ себъ оба пережитыхъ имъ кризиса, объ его встрвчи со смертью. И именно то, что выводить насъ изъ нашего обычнаго равновъсія, что разрываеть, раздробляеть на безконечно малыя части нашь опыть, что отнимаеть у насъ радости, сонъ, правила, убъжденін и твердость, все это-есть въра, все это-моменты соприкосновенія съ мірами иными, выражаясь словами Достоевскаго. И пока мы живемъ въ этомъ мірѣ, не можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы въра была нашимъ постояннымъ душевнымъ состояніемъ. Человъку нужна передышка. Нужно ему вздохнуть и сказать: «какъ хорошо, какъ славно!», нужна ему твердость, правила, почва. И, въ силу того, что съ незапамятныхъ временъ человекъ пріучился думать, что тамъ, гдѣ ему хорошо, гдѣ есть обезпеченность и увѣренность въ завтрашнемъ див, тамъ и последняя истина, и вечное, неистребимое временемъ благо.

такія душевныя состоннія и называются ведикимъ словомъ «вѣра», --они же потому и согласуются съ нашими знаніями и съ нашимъ разумомъ, дабы общими усиліями вѣры, знанія и разума создать прочный оплотъ для бъдной, предоставленной всъмъ случайностямъ, человъческой жизни. Дважды взглянуль въ лицо настоящей смерти Толстой, дважды вырывался онъ изъ власти человъческихъ суевърій и предразсудновъ и много разсказаль онъ намъ о томъ иномъ міръ, куда звала его страшная гостья. И оба раза онъ вернулся обратно. Можетъ правъ, былъ Ахиллъ: лучше быть поденщикомъ въ этомъ мірь, чемъ царемъ въ мірь теней, и правъ быль Экплезіасть-лучше быть живымъ псомъ, чёмъ мертвымъ львомъ. И Ренанъ, быть можеть, правъ: не следуеть рисковать даже въ области философія. Но Толстой сталь Толстымь и научился разрушать и создавать міры лишь послѣ того, какъ онъ взглянулъ въ лицо смерти и постольку, посколько онъ ушель отъ нашихъ традиціонныхъ истинъ. Его «Исповадь» кончается, какъ читатель помнитъ, описаніемъ приснившагося ему сна. Самое замъчательное въ этомъ разсказъ не его мораль, какъ хочетъ Толстой, а единственная въ своемъ родъ передача логики сновидънія. Въ этомъ нужно видъть великій символь, здъсь нужно искать разгадку толстовскаго генія. Кончается сонъ такими словами: «и туть, какъ это часто бываеть во - сив, мив представляется тоть механизмъ, посредствомъ котораго я держусь очень естественнымъ, понятнымъ и несомнъннымъ, несмотря на то, что на яву этотъ механизмъ не имъетъ смысла». Вотъ Толстой, тотъ, который написаль «Три смерти» и черезь полстольтія написаль «еще три смерти». Онъ наполовину пробудился отъ сна жизни и чувствуетъ, что естественность, понятность и несомивнность вовсе не тамъ, гдв насъ пріучили искать ихъ наши учителя, эмпирики и метафизики, върующіе и безбожники. Власть традицій безсильна надъ темъ, кто можеть и долженъ открыть глаза. Къ счастію, къ радости ли это-Богъ въсть. Но къ чему-то совствить новому, неизвъданному, - это несомитино...

Въроятно, статья эта не попадется на глаза Толстому. О немъ всегда, а теперь въ особенности такъ много пишутъ, что онъ едва ли въ состоянии прочесть и сотую долю посвящаемыхъ ему статей. Но если попадется, онъ навърное скажетъ обо мнъ, какъ говорилъ о Ницше, «рака» или безумный — не успугавшись ни синедріона, ни геенны огненной. Что-жъ? Съ этимъ нужно примириться. Я же закончу тъмъ, съ чего началъ: Тhe time is out of joint. И прибавлю: мы пальцемъ о палецъ не ударимъ, чтобы поставить время на его прежнее мъсто—пусть разбивается въ дребезги.

Л. Шестовъ.